



Елена Посвятовская

Важенка

Портрет
самозванки

ШЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Женский почерк

Елена Посвятовская

Важенка. Портрет самозванки

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Посвятовская Е. Н.

Важенка. Портрет самозванки / Е. Н. Посвятовская —
«Издательство АСТ», 2019 — (Женский почерк)

ISBN 978-5-17-133778-0

Кому-то счастье само идет в руки, но не ей, провинциалке Ире Важиной, Важенке. Ее никто не ждет за уютными ленинградскими окнами. Ничего, она уже на пороге сказочной жизни, она пробьется – любой ценой... Роман «Важенка. Портрет самозванки» – яркая, динамичная история обычной, казалось бы, девчонки из 80-х, чья борьба за место под солнцем доводит ее до последней черты.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-133778-0

© Посвятовская Е. Н., 2019
© Издательство АСТ, 2019

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	21
Глава 3	30
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Елена Посвятовская

Важенка. Портрет самозванки

Татьяне Толстой с благодарностью и восхищением

© Посвятовская Е. Н.

© ООО “Издательство АСТ”

Глава 1

“Сосновая горка”

В дверь позвонили, когда Спица только-только прикурила. Она вздохнула, отгоняя дым. Открывать только ей, хотя бы потому, что она стоит. Тата, вернувшись из какого-то блуда – две ночи не было, – спала, свернувшись изящным калачом, а Важенка мыла голову в ванной. Еще две обитательницы двухкомнатной общажной хрущевки уехали в город или по магазинам где-то здесь, в Сестрорецке. Зажав сигарету в уголке рта, она возилась с замком.

За дверью стояли старший администратор Глебочкина в шляпке-таблетке с вуалью, комендантша и парочка комсомольских прихвостней с тетрадкой. Ну, как стояли – подергивались от нетерпения. Примерно раз в два-три месяца они врываются в квартиры персонала “Сосновой горки” с целью найти и изъять притыренные из пансионата продукты и инвентарь. Рейд любили начинать с общажной элиты, с поваров, – из их квартир разве что дым не валил в эти минуты: распаренная Глебочкина вытаскивала оттуда коробки с растворимым кофе, чаем, горошком и джемами “Глобус”, компотами ассорти, забирали все, на чем был артикул, а вот мясо и колбасу не вырвать, повара костями ложились – докажите сначала! Пока там рубились, остальные квартиры стремительно заматали следы.

Обычно комиссию встречали уже приветливо, в чистенькой, скромной обстановке, без излишеств. На стене плакат сияющей “АВВА” – блески, улыбки, еще сплоченные, накрепко женатые друг на друге. У Спицы над кроватью великий плюшевый сюжет, целый коллектив настороженных гордых оленей. Покрывала натянуты.

Сегодня начали с горничных. Твою мать, подумала Спица, прикрыв от дыма левый глаз.

Отступила в сторону, пропуская “налетчиков”. Они сразу пробежали в центр комнаты.

– Вот, полюбуйтесь, Любовь Викторовна, – комендантша всплеснула руками на зеленую настольную лампу. – Ваша же! Вот как они проносят?

Обычно все разговоры с администрацией вела Лара Василенок, высокая красавица белоруска, умеющая спокойно и нельстиво договариваться с властью, жалающая их каким-то особым уважительным подходцем. Она кивала, сокрушалась, недоумевала, не предавая при этом ни себя, ни девочек, умела объяснить и отстоять многие вещи, и вот уже незваные гости причитают на пороге: “Вы уж, Ларочка, приглядите за ними, вы постарше будете, девочки без родителей, из деревни многие, вот и не знают, как надо”.

– Я сама из деревни, – Лара горделиво откидывала голову назад.

– Оно сразу и видно, – приглушала голос комендантша, имея в виду уже что-то хорошее, патриархальное.

Лара обещала приглядеть, хлопала дверью – руки в боки, – выдыхала матерно. Но Лары нет, а Спица поддерживать такой скользкий разговор не умела.

– Так вроде вы сами дали нам эту лампу при заезде, – Спица сама не знала, на что надеялась.

– Спицына, да ты совсем, что ли? – задохнулась комендантша. – И шторы эти выдала, и плед немецкий. Девки, да вы совсем оборзели! Голикова, хватит делать вид, что ты спишь.

Комендантша подскочила к Тате и содрала с нее отличный гэдээровский плед. Спица поморщилась. Сонная Тата красиво выгнулась, потягиваясь, села на кровати. “Слушайте, вы так кричите”. Вполне по-светски высказалась.

Комендантша уже колотила в дверь ванной.

– Кто там? – Глебочкина ткнула в Тату подбородком.

– Любовь Викторовна, я спала, вы же видели, – желто-зеленые глаза Таты совсем прозрачные, с крапинкой.

– Там Ира наша, – сообщила Спица.

– Важина, открывай давай, – комендантша снова нервно подергала дверную ручку.

– Сейчас, сейчас, – кричит из-за двери Важенка.

Вышла красная, мирная, в жирном креме и махровом халате Лары, тюрбан на голове. Вот в этот-то тюрбан и вцепились проверяющие взгляды.

– Мама полотенчико прислала, – любовно потрогала тугой узел Важенка.

Из ванной разочарованная комиссия вышла через минуту.

– Игорь Кио, – усмехнулась Глебочкина прямо в Важенкины глаза. – А где все полотенца? Можно подумать, вы без них обходитесь.

– Девочки, – строго Важенка повернулась к Спице и Тате. – Где ваши полотенца?

* * *

Два казенных полотенца она быстро обернула в коричневое платье Лары, сорвав его со змеевика. Бесшумно сдвинула в сторону стиральные и чистящие порошки, белизну, соду, толпившиеся у чугунных ножек ванны, и сверток туда, под нее, в самый дальний угол – без фонарика точно не разглядеть. Еще одно полотенце обмотала на талии, а сверху Ларин объемистый халат.

Все курят, смеются вокруг Важенки и ее рассказов. А ей не остановиться, говорит, говорит, глазом косит немного.

– Да им уже наплевать было на полотенца, вон лампу и пледы прихватили и рады-раде-хоньки, – Спице ревниво, что Важенка так разливается, словно отстояла вещи, а это же не так.

Хотя эти пледы “студентки” и притащили, так называли тут Важенку и Тату. Летом они вместе провалили вступительные на психфак университета, вот и вкалывают горничными в пансионате на заливе, чтобы в июне уйти отсюда навсегда. Держатся вместе и немного особняком. Мысли об учебе – редкость в кирпичной серой пятиэтажке. Здешний народец за прописку ленинградскую рубится, три года – и постоянка, потому иногда Спице кажется, что от парочки тянет ледяным ветерком презрения. Тата еще ничего, нормальная девчонка, красивая очень, а вот Важина...

Спица не любила оставаться с Важенкой наедине. В эти минуты становилось особенно понятно, что Зои Спицыной для Важенки не существует. Пустое место. Она умудрялась говорить с ней, улыбаться, кивать, не замечая Спицы, мазала взглядом или вовсе смотрела сквозь нее с сонной слезой. А вот Тату и остальных Важенка видела, Ларой так вообще восхищалась – для кого она сейчас так щебечет. Даже пергидрольная блудня Анька ее сместила и трогала. Хотя и здесь было ясно, что ставит себя Важина повыше других.

Однажды Спица догадалась, что девочки не замечают Важенкиной двуличности, потому что для каждой у нее есть свой театр: для Лары она восхищенная маленькая девочка, Аньку и Тату опекает, и те смотрят ей в рот, но со Спицей она даже не считала нужным играть, отдыхала на ней.

И главное, было бы чем гордиться.

Невысокого роста, бледная, порывистая, с прямыми темными волосами, веки припухшие, когда смеется, глаз вообще не разглядеть, симпатичная, если накрасится, худощавая, обычная.

То ли дело Тата со своими русалочьими глазами. В Тате нежность и свет, невесомость, это Ларин любовник Левушка сказал. Розовые губы, нос с горбинкой, узкие ступни, силуэты. Легкие соломенные локоны заколоты на макушке зубной щеткой, авторучкой, спицей, что под руку – так и болталась по дому и пансионату, красиво ей. Или Лара: у той не силуэты – у той стать, фактура, долгая шея, вокруг которой приплясывают длиннющие серьги, и темные винные губы. Из-за тяжелой медной копны, скрученной на затылке в толстую косу или хвост,

фарфоровый нос чуть задирается. Веснушками облита с головы до пяток. Две красавицы на весь Сестрорецк, и обе в их квартире.

Правда, фигурка у Важной точеная, но сутулится, и что тогда с этой фигурки? Да и задница плоская, нет задницы.

На столе уже масленка, и Важенка режет теплый ленинградский, Тата мешает ей, пальцы под нож, собирает на подушечки арахис с досочки, запыленной сахарной пудрой. Лара заваривает чай: Ларочка, ну обдай кипятком сначала, не ленись. Анька хвастает польской сумкой, урвала в галантерею на Финбане, пока электричку ждала. Сумка такая – черный сияющий заменитель, от кожи не отличить, верх, как у почтальона, перекидывается и на брусочек замка – шелк, а наплечный ремень убегает в саму сумку, подхватывает ее с боков и по дну, рядом с замком фирма, неброско, серебряной прописью, – хорошая сумочка. Спица на вытянутой руке вертит ее со всех сторон, смотрит, отклонившись: Анька, продай! Ага, щас, смеется довольная Анька. Ей не терпится выбросить старую – там уже ручки в хлам и подкладка по шву разошлась.

– Стоп! – кричит Важенка, отряхивает ладони от сахарной пыли. – Мне старую, мне, мне.

Свистит оранжевый чайник на газовых прозрачных лепестках. Вот зачем ей старая рвань?

* * *

Они осторожно выскользнули из дверей служебного входа и огляделись. Никого. С залива дул ледяной ветер, Тата схватилась за берет: бежим. До соснового леса – предательски лысые сто пятьдесят метров, где их еще могут заметить. Ветер, подхватив под мышки, сам понес их к соснам. В тканевых сумках, болонья и мешковина, погромыхивает стеклотара, собранная в комнатах отдыхающих. Пять бутылок – полкило “Докторской”, как ни крути. Ну, или 0,75 белого столового. Ветер гудит в ушах – мы птицы! – толкается в спину, помогает, молодец. Низкие графитовые тучи стремительно бегут с ними. В лесу Важенку и Тату душат смех и восторг. Крепко пахнет грибами и мокрым мхом. Сосны от холода поджимают корни, кончается октябрь.

В “Сосновой горке” они с августа, но убежать с работы уже в обед придумали недавно. Как только Глебочкина с врачихой устремлялись в столовую, где им было накрыто на белых скатертях, Важенка с Татой кралась к служебному входу, потом сто пятьдесят бешеных метров и сосняком к автобусной остановке – успевали на двухчасовой.

– Я понимаю, девочки, что такое работать физически, – распиналась Глебочкина. – Десять комнат вымыли, отдохнули, еще десять – чайку, распределяйте время разумно.

С девяти до часу они обычно уже перемывали все свои тридцать комнат и санузел с душем. А потом надо было просто сидеть в горничной до пяти, и чай бесконечный. Но ведь многие отдыхающие отказывались от уборки, особенно в такие хмурые дни – лежат себе на покрывалах, грустные, в майках, грибы на ниточках сохнут между рамами, многие пьют. Главное, как учила Спица, зайти с озабоченным лицом, спросить угрюмо: “Уборка нужна?”

– Нет, нет, деточка. Все хорошо у нас. Полотенчики только принесите.

За дверью лицо расправлялось – приличные люди! Можно сбегать перекурить к Тате на этаж. Тата, милая, ломкая, льняной пучок заколот карандашом, в черном халате – только у Лары халат синий в светлый мелкий горох. В одном кармане тряпка, в другом баночка “Суржи”, абразивной дряни, которая, засыхая, напоминала растрескавшуюся почву, их единственное моющее. Если его отколупывать, оно крошится, сорит, потому Тата в номере залихватски выдавливает хозяйскую зубную пасту в раковину и чистит ею.

– Тата, – прыскает Важенка. – Ты чего?

– Глаза бы мои на эту “Суржу” не смотрели. А пасточкой, смотри, любо-дорого! Ничего, не обедают.

Спица вообще возвращается в горницкую с конфетами в карманах. Молча выкладывает их на блюдечко. Те, что без оберток, – шоколадные пирамидки из дорогих коробок ассорти.

– Отдыхающие угостили? – вскидывает ресницы Тата.

– Ага, они угостят, – туманно высказывается Спица.

От нее восхитительно тянет французскими духами.

Самый ответственный, престижный этаж у Лары – она красавица и умеет себя подать. На этом этаже есть даже красная дорожка с зелеными полосками по краю. Селят туда руководителей, режиссеров, дирижеров, партийных шишек и торговых работников. Почти все приезжают без жен – увидев Лару, цепенеют, влюбляются, клянутся, что и не было сроду никаких жен. Водку заносят ящиками – подмигивают, что пьют с горя, без взаимности, мол. Лара цыкает, закатывает глаза, качает от них синими бедрами в горошек. Замерев, смотрят ей вслед.

У нее любовь, потому смотрите, любуйтесь, важные незнакомцы, на ее прекрасные извивы, столбейте себе там за ширинками, только руки и слюни подберите. Кроме синего халатика в горошек, на Ларе каблук одиннадцать сантиметров – ей так удобно. Звенят браслеты, гремят ведра, стук каблучков глушит красная дорожка с зеленым по краю. Сливки с медом эта Лара.

Ее красота, почтение к другим, какое-то древнее, сельское, маму на “вы”, в паре с независимостью, которая после трех Лариных стопок легко превращалась в обаятельное буйство, делали ее абсолютно неотразимой. Важенка разгадала все три составляющие и, возможно, что-то позаимствовала бы, но главной в этом победном списке была красота, а ее Важенке взять было неоткуда. И тогда оставшиеся две, которые лишь прилагались к первой великолепной, как-то сразу тускнели, мельчали, но запомню, запомню, думала она. Свобода и почтение – редко ходят рядом, но если да, то успех. Но как выверить без конфликта их умные пропорции во всякую минуту жизни – и нужно ли, если не положено это при рождении, как Ларе.

По узкой тропке шли друг за другом сквозь странное красноватое свечение сырых стволов. Тихо-тихо вокруг – ветер остался у залива. За частоколом сосен мелькнул оранжевый бок автобуса – можно не бежать, здесь кольцо, постоит. Из автобуса прямо на Важенку и Тату сошла Глебочкина с кастеляншей, которые по-хорошему должны были сейчас за обедом переходить к бифштексу с яйцом. Еще там к гарниру полагался зеленый горошек. Вместо этого Глебочкина орала на всю конечную, что ни принципов, ни правил у них, что лишит квартальной, а от Важенки она вообще такого не ожидала. Мямлили в ответ, что справились сегодня быстрее обычного: от уборки все отказываются – ветрено, не погулять. Особенно противной была неровно накрашенная улыбочка кастелянши.

– Ах, вам работы мало! – задыхнулась Глебочкина. – А ну за мной, мы сейчас это поправим. Так, а в сумках что?

Они раскрыли сумки, и Глебочкина с кастеляншей вдруг развеселились, пошли от них, посмеиваясь.

– У вас помада размазалась, – запустила им в спины Важенка.

Потащились в лес прятать бутылки, не нести же их назад.

* * *

– А что там внутри? – Важенка кивнула бармену на продолговатый стеклянный сосуд, где в подсвеченной жидкости плавали фантастические желтоватые тельца. – Не оторваться.

Бармен – бог, потому слегка пожал плечами, незаметно окинув Важенку взглядом: как вообще решилась с ним заговорить?

Тата ушла занять столик, хотя так хотелось сесть за барной стойкой, и места были, но это как-то еще неопробованно: страшно, что прогонят.

Народу в баре мало – четверг. Они вбежали за час до закрытия, внезапно придумав так раскрасить осенний холодный вечер, да дольше просто не хватило бы денег. По коктейлю, пара мелодий и домой – такой план. Тата уже была здесь с поклонником и потому хорошо ориентировалась – на первом этаже кафе и гардероб, а в бар вела кованая винтовая лестница.

– Клево тут, да? – Тата старается перекричать “Шизгару”. – Ты чего там с ним обсуждала?

– Я спросила, что у лампы внутри. Жидкость какая, из чего эти эмбрионы, – это первый коктейль в жизни Важенки, и ей не очень хочется разговаривать.

– Глицерин и воск, да? Я его тоже в прошлый раз спрашивала, – кричит Тата, и первый коктейль Важенки отравлен.

Важенка старается забыть обиду, проглотить ее с восхитительной сине-зеленой жидкостью – подумаешь, Тате все рассказал, а для нее и двух слов не нашлось. Незаметно лизнула сахарный край стакана.

– Я умру, если он кончится, – Тата показывает глазами на мерцающий бокал с трубочкой.

С первыми звуками “Sunny”, дивной, ритмичной, вдруг становится понятно, что мятные ручейки с водкой – или что он там намешал – добежали до сердца, до головы, докуда надо добежали. Тата спохватилась: скорее танцевать, быстро тянет из трубочки остатки коктейля, блестит глазами: давай быстрее! Музыка уже не просто повсюду, крутится с бликами от зеркального шара, а чудесным образом попала еще и внутрь, и оттуда из живота, из легкой груди – “Sunny one so true, I love you-u-u!”

Теперь Важенка знала, как выглядит праздник. Они танцевали глаза в глаза, улыбались, подкидывая вверх бедро, летели навстречу друг другу, менялись местами, перекрещивали ладони на груди, на бедрах, богини, тянулись к потолку, нет, к небу, красиво двигая кистями, – какая еще на фиг Глебочкина! кто такая? – вдруг артистично выбрасывали палец вперед, показывая друг на друга, смеялись, играли, конечно! Там около бармена высокий парень развернулся к ним от стойки, смотрел не отрываясь. Второй, плотный, невысокий, в кожаном пиджаке, уже пристроился рядом, вобрав голову в плечи, ритмично крутил кулачками перед грудью, норовя время от времени столкнуться в такт с их юными бедрами.

Высокий вблизи разочаровал – на смуглом лице шрамы, узкие глаза бегают. Говорил он с опасной ласковостью, сразу решив, что Тата его, а маленького в пиджаке определил к Важенке. Купили им еще по два коктейля, и можно потерпеть ухаживания, липучие намеки, которые так кстати глушила музыка.

Кавалер Важенки в самое ухо рассказывал ей, что он таксист, машина у него здесь, в двух кварталах, и сейчас он ее подгонит, чтобы им вчетвером ехать на какую-то квартиру. Она замотала головой – какую еще квартиру! – отвернувшись, прислушиваясь к объявлению бармена о том, что две последние песни, и все, бар закрывается.

– Пойдем, – завопила Тате через стол.

Вдруг осеклась, увидев, как Толик, так звали высокого, что-то говорит на ухо Тате и как медленно уходит улыбка с милого лица.

– Ребята, мы никуда не поедem, простите, но нам завтра очень рано вставать, – Важенка старалась быть твердой и бесстрашной.

– Куда ты денешься? – крикнул Толик уже через музыку и оскалился. – Ты чё пришла-то сюда?

Улыбалась жалко и ненужно. Не знала, что отвечать. Анька и Спица, собираясь в бар, так и говорили – пошли на съем. Часто возвращались утром, рассказывали, что да как, – Анька, разумеется, всегда победительница, красавица, а у Спицы однажды синяк две недели не проходил. Иногда молчали. Но то, что они с Татой здесь сейчас не для Толика и таксиста, было абсолютно ясно. Кстати, Толик благородно промолчал про коктейли, ни слова упрека, но на столике между ними четыре пустых бокала.

Таксист крепко взял ее за плечо.

– Пойдемте танцевать, – закричала она весело, выныривая из своего страха.

Даже в темноте было видно, как бледна Тата, теперь все ее движения безжизненные, так у куклы кончается завод. Таксист, немного покрутив кулачками и пару раз стукнувшись с Важенкой бедром, улетел за машиной, сказав что-то напоследок Толику. Важенка безоблачно всем улыбалась, судорожно прикидывая, сколько человек осталось в баре, где номерки, как им бежать и станет ли кто-нибудь помогать им в этом.

Толик теперь не спускал с нее глаз. Видимо, понимал, кто может оставить его без сладкого.

– Это от гардероба, и сумка моя, – Важенка под столом положила Тате на колени сумку и вложила ей в ладонь номерок, спокойно улыбаясь. – Беги вниз, как только я подойду сейчас к этому, все получи и жди на улице. Только таксисту на глаза не попадись. Быстрее.

Важенка неторопливо пошла к стойке, где Толик брал себе последний коньяк, все время оглядываясь на нее. Оставшиеся человек восемь скандировали бармену – еще, еще! Тот скрестил руки в воздухе – все, дорогие, аллес. Важенка щебетала с Толиком – на посошок? а чем КВ от пяти звездочек отличается? – заметив краем глаза, что Тате удалось ускользнуть с сумками.

– А где Наташа? – спохватился он минуты через три.

– В туалете, – с веселым удивлением выпалила Важенка. – Дай сигарету, пожалуйста.

Толик протянул ей пачку, щелкнул зажигалкой.

– Чё-то долго она.

Важенка, сделав затяжку, вытаращила глаза и выдохнула дым:

– Ага, чего-то долго. Подержи-ка, проверю, – сунула сигарету в руки Толику.

Он послушно взял, смотрел ей вслед немного растерянн.

Ну не мог он не взять, когда вот так мило – подержи, пожалуйста. Почти целая, зажженная сигарета – верный залог того, что хозяйка ее непременно возвратится, ведь только прикурила.

А хозяйка летела через две ступеньки по железной лестнице, и сердце ее колотилось в горле. На улице, выхватив пальто из Татиных рук, крикнула “бежим”, и они припустили во дворы от ярко освещенной улицы Володарского.

* * *

Теперь ветер в лицо. Резал бритвой, но жаркий ужас погони отменял его злость – мы птицы! Смешно невозможно, лицо Толика с сигаретой, умру сейчас.

В каком-то дворике, забившись за гараж, отдышались, отсмеялись. Ветра здесь немного, и всё потише, черный клен ронял неторопливые листья, и, падая, они трепетали, дрожали под маслянистым фонарным светом, лимонные с зеленью, охряные в кровавых прожилках. Внизу сквозь их звездчатый ковер жирно поблескивал асфальт. Запах дыма в морозном позднем вечере.

Стукнула балконная дверь, кто-то, откашлявшись, закурил прямо над ними, сплюнул мирно.

– Пойдем уже, – Тата опасливо задрала голову.

Глаза Важенки вспыхнули вдруг в фонарном луче, схватила подругу за рукав:

– Знаешь, зачем нам сумка Спицы, ну, старая та! Мы набьем ее в следующий раз газетами и легко смоемся от всех, бросим в баре. Разведем на коктейли, а потом – посмотрите за сумочкой, пожалуйста, мы скоро.

Тата от смеха сложила пополам.

Снова неслись через сквер, и ветер в черном небе срывал яркие листья, шумел, швырялся ими. Тата крикнула:

– Я восхищаюсь тобой!

Важенке неловко от этих слов – ну не говорят так люди! – и приятно, конечно. Немного нелепая эта Тата.

А в тридцати километрах от них ворочался, не спал каменный, сырой город, и теперь уже точно, что он им уступит, повернется добрым солнечным боком. Все казалось возможным, нет границ, все получится – что такое “все”, трудно определить, когда тебе семнадцать, – но то, что получится, совершенно же ясно.

* * *

Ноябрьской ночью к Спице ввалился пьяный Гарик. Та дрыхла без задних ног, и Важенке пришлось самой ему открывать. В ботинках не пуцу, сонно и зло сказала Важенка, перегородив ему путь к “возлюбленной”.

Он мычал на придверной циновке, всячески показывая, что ботинки ему никак не снять – вот смотри, падаю. И действительно упал и пару раз стукнулся головой о стену, пытаясь наклониться. Протянул к ней ногу, предлагая Важенке самой снять с него башмак.

– Да щас тебе! – отступила она. – Как ты дополз-то сюда?

Если бы не пустила, он до утра ломал бы дверь, комендантша, менты – зачем? Уже пройдя большую комнату, Гарик врезался в косяк дверей Спицы и Аньки, завопил матом. Важенка подтолкнула его туда в черноту и плотно закрыла дверь – пусть теперь Спица сама там с кавалером. Подивилась на своих: Тата даже не шевельнулась во сне, а Лара, приподнявшись на локте и выругавшись в сторону шума, вскоре снова упала замертво. Уснули все, даже Спица с Гариком, недолго повозившись за стеной с раздеванием ночного гостя. Долго не могла уснуть только температурившая Важенка. Прикрыв пододеяльником нос, ждала в темноте, пока развееется само собой перегарное облако Гарика.

Из-за него вспомнилась первая ночь в этой квартире. Дома никого не было, и комендантша показала ей свободное место в комнате Спицы. Это потом они поменяются с Анькой, и Важенка переедет в проходную к Ларе и Тате. А в тот вечер она обустроилась как могла, чемодан задвинула под кровать, мелкие вещи в тумбочку, на нее бронзовый бюстик Маяковского. Уснула она, так никого и не дождавшись. Разбуженная в пятом часу приходом Спицы и Гарика, притворялась спящей, оставив знакомство до утра. Те немедленно завалились на кровать, скрипели, сопели, скидывали на пол одежду. Важенка, потрясенная, что они наплевали на живого спящего человека, осторожно подглядывала. Неожиданно Гарик замер, поднял голову и долго смотрел в ее сторону, вглядываясь во что-то сквозь серую утреннюю муть. Потом тихо сообщил Спице:

– При Ленине не могу.

Даже сейчас Важенка фыркнула от смеха.

* * *

Рано утром за стенкой случилась “любовь”. Благо, Спицу слышно не было – видимо, сонная, она решила ничего такого не изображать, тупо отбивала неизвестно чью повинность. Лара, проснувшись от Гарикова усердия, долго потягивалась на кровати, громко зевая, потом отправилась в ванную. Кажется, напевала. Тата спросила заспанно и нежно: “Блин, кто это?”

– Гарик, – через паузу ответила Важенка.

К завтраку гордая Спица вышла с часами на руке. Белые, пластиковые, не наши.

Анька заверещала, схватив ее за запястье, завистливо заохала: “Молодец Гарик. Вот умочка!”

– Очень в тему. Летом будет хорошо, – Лара допивала чай уже стоя. Деловито наклонилась к Спице, разглядывая часы.

– Да, хорошие, – искренне выдохнула Тата. Важенка молча вышла из кухни.

Хорошо, что она болеет и не надо сейчас с ними со всеми трястись в служебном до “Сосновой горки”, мыть там чужие горшки и полы, курить бездумно в горничной до вечера, до горечи во рту, в сердце.

Вызвала врача от коменданта и спала почти весь день до его прихода.

Докторша принесла с собой зимний воздух, шмыгала носом, трогая ледяшкой стетоскопа Важенкины худые лопатки. Ее красные пальцы пахли медициной.

– Хорошо, тепло у вас в квартире, – сказала, выписывая рецепт.

– Вчера окна законопатили, – кивнула Важенка.

Вечером Тата с Ларой уехали в город по делам. Анька сходила в аптеку, а Спица принесла из своей комнаты торшер, чтобы верхний свет не жег Важенкины глаза. Потом Спица солила капусту “слава”, а Анька жарила семечки, и уже уютно болеть в их заботе, в этом заклеенном бумажными лентами тепле, в запахе семечек, звуках ножа, шинкующего капусту, – пару кочанчиков, не больше.

Звонок в дверь отменил этот зимний уют. Долго-долго, дрелью в висок – пальцы от кнопки не отрывают. Важенка в проходной комнате задвигалась в постели, скривилась: девочки, дверь, дверь ко мне закройте! Но они несутся наперегонки в прихожую: кто так трезвонит? что за наглость?

Это Лев Палыч, и значит, конец умиротворению. Его бодрые выкрики, звон бутылок, Анька вышивает смехом в коридорчике.

Лара всегда милостиво кивала, когда очередной поклонник спрашивал разрешения навесить ее. Приезжайте, угостите девочек, загадочно улыбалась она. Приободренные не понимали, что самой Лары в назначенный час не окажется дома. Или так – посидят, выпьют дорогого, угостятся сладеньким, и всё: топай в ночь, голубчик. Если Лара отсутствовала, то те кавалеры, которые ничего так или с последующей выгодой – директор театра, к примеру, – просыпались утром в объятиях Аньки или Спицы. Приходили с коньяком, маргариновыми картонками “Сюрприз”, “Полярный”, причесывались без зеркала, откашливались в прихожей, озирались, тоскливо поправляли запонки за столом, уже догадываясь, что угодили впросак. Особенно неловко было смотреть на их большие носовые платки, клетчатые, сложенные, – ведь жена гладила, собирала козла в огород. Выпив, ухаживали уже за другими, стараясь даже не помнить о Ларе, – блеск далекой звезды, как подумать-то смели. Среди сластолюбцев был даже Герой Советского Союза. Всегда при параде, переливался наградами, звенел и даже не возмущался, когда Лара однажды захватила в валютный ресторан четырех подруг. Новые румынские ботинки ему жали, и он сбросил их по-свойски под столом в разгар пирушки. Лара, уже веселая, сытая, унесла их тайком в туалет, спрятала, и они впятером бежали с хохотом, бросив старичка холеным хищным официантам. Ничего, через неделю пришаркал с шампанским и зефиром, целовал Ларе руки, бряцая орденами.

Лев Палыч – другой табак, Лева – любовь. Щедрый, лукавый, бабник записной, измены топил в подарках. Да и Лара не терялась – пропадала обиженно на два-три дня, проваливаясь в какой-то темный подпол своих соблазнов, мстила, должно быть. Возвращалась, еще выше задирая фарфоровый нос, подарки прятала, продавала. Поделом Левушке, переглядывались Важенка с Татой, – у них вообще были к нему вопросы. Лев Палыч руководил каким-то предприятием здесь, в Курортном, не самым последним, деньги имел хорошие, в карты играл по-серьезному, одевался в импортное, но внешне... Лара на каблуках даже повыше, и худенький такой, в очках, а она ему: “Левушка, красун мой, прыгажун пісаны, анёл пшчотны”. Важенка беззвучно прыскала.

Любила Лара Левушку и даже уважала.

Лирический герой Важенки и Таты определенно был моложе, мускулистый и не еврей. На этом моменте Тата зажмурилась: мама-учительница говорила, что нельзя так людей – на евреев и неевреев. Все люди равны, робко предполагала Тата. Ага, фыркала в ответ Спица.

– Студентка, подъем! – заорал в открытую дверь Лев Палыч.

Важенка отвернулась к стене, понимая, что все только начинается.

Через час она осторожно скользнула в уборную. Они что-то жарили, орали как через Волгу, деланный Анькин хохот. В туалете Важенка слушала, как они готовятся к ее выходу, затихли и со смеху давятся – господа, ну что могут придумать эти пьяные бестолочи? Важенка появилась на пороге под грохот сливного бачка за спиной, бледная, дрожащая от температуры, в халате поверх сорочки.

Лев Палыч, в фетровом кепи Спицы и бюстгальтере Лары прямо на пуловер, пел, припав на колено, под соседскую гитару:

Студенточка, заря вечерняя,
Под липою я ожидал тебя.
Мы были счастливы, любовались голубой волной,
и, вдыхая аромат ночной...

На этих словах Лев Палыч повел носом в сторону Важенки и туалета за ее спиной и сморщился. Она не выдержала и расхохоталась.

– Одну стопочку, только одну, студентка! – обрадовался он.

Важенка сходила причесалась, переоделась и вышла к ним.

– Это же первое средство при болезни! Чё ты как маленькая, – Лев Палыч с любовью наливал ей прозрачную “микстуру” длинной точной струйкой.

– Хорошо сидим, – оглядела стол Важенка.

– Не говори, – поддакнула Анька.

В центре на засаленной прихватке стояла алюминиевая сковорода с жареной картошкой, чья-то вилка о бортик, коричневатого-серый шпротный паштет под отогнутым козырьком жестянки, рядом с ней дымилась в пепельнице сигарета Льва Палыча. Банка сайры, пачка соли, три кочерыжки на тарелочке. Вся кухня плавала в сизом сигаретном дыму.

Важенка вытащила из ящика стола ложку и, выпив половину рюмки, с удовольствием припала к дымящейся картошке, блестящей от сала. Сразу вспотела.

Лев Палыч, занюхав водку Анькиной макушкой с отросшими темными корнями, – та аж повизгивала от восторга, – принялся рассказывать анекдот про Чапаева, который без конца заказывал золотой рыбе золото, камни, дворцы, титул, имя какое-нибудь немецкое с приставкой “фон”. И она все исполняла, бедняжка, но утром к нему входил слуга с голубым генеральским мундиром и торжественно объявлял:

– Господин Франц Фердинанд, вставайте, пора в Сараево!

Важенка смеялась от души, хотя анекдот этот знала, но приятно было, что Левушка старался для нее – вряд ли Спица и Анька в курсе повода к Первой мировой. Старался не потому, что она ему нравилась, но ему всегда важно, чтобы в попойке участвовали все вокруг, веселились, радовались. А он, широкая душа, в самой середине праздника. Хотя, может, и нравилась.

Анька и Спица робко хихикнули, и чуткий Лев Палыч рассказал вдогонку уже понятный всем анекдот про клячу на ипподроме, которая “ну, не смогла”, и все четверо смеются от сердца, потому что водка, и картошка дымится, жар батарей, а за окнами желтеют лиственницы, и Лев Палыч прекрасный, артистичный, и лошадь, конечно, эта.

– Если мужчина говорит о женщине: “Она была в платице”... Не в платье, а в платице, внимание! Все – он на нее запал! – почти кричит Левушка.

– “...Ты все та же, моя нежная, в этом синем платице”, – выводит дура Анька, зацепившись за него подведенным многозначительным взглядом.

– Нежность, вот именно! Эротика. Он хочет ее. Плать-и-це, вслушайтесь, – Левушка темпераментно стряхивает пепел.

В платице одна Важенка – ну как в платице? в халате, кофта сверху, и она не выдерживает и улыбается: классный он все-таки. Отворачивает эту улыбку к Спице.

– Я не могу, я, когда на этот паштет смотрю, особенно в этой жестянке с зазубринами, у меня во рту такое металлически-рыбье, бе-е-е, – Важенку и вправду передергивает чуть.

Спица пожимает плечами, курит.

– Успела посолить-то? – Важенка показывает подбородком на кочерыжки.

– Ну да, – усмехается Спица.

А Важенке после второй уже и поговорить бы, и она рассказывает, что дома они, посолив капусту, выставляют ее в дубовой бочке прямо в общий коридор, и тряпицу льняную сверху, кружок осиновый под гнет, и никто никогда не трогает, захотел капустки – идешь с миской и набираешь сколько надо, и картошку в ящиках никто не запирает. Тряпицу и деревянный кружок водичкой время от времени, чтобы не плесневели. Вдруг спохватилась, что рассказывает это все Спице, у которой оловянные глаза, только вид делает, что ей интересно.

– Чего там между второй и третьей? Чтобы пуля не пролетела? – Важенка поворачивается к Аньке и Левушке.

Ну вот, что и требовалось доказать.

Молча улыбаются глаза в глаза. Анька, подбородок в ладонь, качается на локте; на ее безмянном медово светится янтарь – вот когда успела все кольца нацепить? Почему-то Важенка уверена, что под столом они трогают друг друга коленями.

Сразу скучно, и голова гудит, и снова слышно, как внутри ворочается простуда. Ушла, плотно закрыла за собой двери.

Проснулась Важенка, когда Спица прошла к себе спать. Зажгла торшер – на часах только десять пятнадцать. На кухне изредка раздавались голоса, что-то хлопало, падало.

Закрыв глаза, представляла, что там сейчас: Аньку с ее белой голой грудью, Левушкины пьяные муки, куда ее – на край стола? плиты? – Анькино притворное “не надо”, потрескивают ее джинсовые бедра, “четверг” на трусах-неделька в растворе змейки. На кухне оборчатая занавесочка в клетку, пошитая Анькой же, не задерживается, да и не вспомнят они – хоть бы в ванную ушли. Разгонию гадов, подумала, приподнимаясь на локте. Чтобы Лара не наткнулась на этот ужас.

Замерла ненадолго, прислушиваясь. Потом отпила холодного чая. Ложечка с тихим звяканьем съехала к ней на щеку. Выключила свет, подушку на голову.

* * *

Продавщица в колбасном – полногрудая, с тугими щеками и ажурной наколкой в свалывшемся перманенте. Дышит с трудом. Положила на весы жесткую упаковочную бумагу поверх “Останкинской”.

– Так хватит? – спросила она, глядя на стрелочку циферблата. – Порезать или куском?

Мужичок впереди Важенки часто закивал, показал ребром ладони, что режем, мол. Убежал платить. Пока Важенке взвешивали полкило сосисок, снятых с железного крюка в стене, успел вернуться, настойчиво тянул свой серый чек, наваливаясь на Важенку, оттирая от прилавка. Из кармана телогрейки выглядывало водочное горлышко.

– Не терпится, что ли? – усмехнулась продавщица, накалывая чек на торчащее на прилавке шило.

Полногрудая лояльна к алкашам. Летом она стояла на соках в тесном отдельчике при входе. Субботним утром Важенка купила у нее томатный. Та подхватила из блюдца зазвеневшую монету, долго крутила стакан в потертой мойке, нажимала какой-то рычажок, внутрь стакана били тугие струйки. Открыла краник у стеклянного конуса с соком. Важенка, заколдованная ее неторопливыми движениями и субботой, тоже не спешила. Долго размешивала соль в стакане. “Лида, мне как обычно, березовый”, – хохотнул мужик, похожий на этого, в телогрейке. Лида напряженно посмотрела на Важенку. Та удивленно постучала ложечкой о стеклянный край, стряхивая капли, вернула ее в стакан с водой. Отерев руки о фартук, Лида достала из-под прилавка открытую трехлитровую банку с березовым. Скинула легкую железную крышку, искуроченную открывалкой, налила в стакан почти до половины. И только когда мужик, выпив, долго выдыхал в рукав, Важенка догадалась, что в стакане была водка. “Это еще что, – авторитетно заявила потом Спица. – Я эту Лиду знаю. У нее портвейн налит в одном конусе, якобы сок виноградный. Она оттуда всем алконавтам до одиннадцати утра бодро так разливает. Одна тетка спросила виноградный, так она ей – скис, берите яблочный! Даже головы не повернула”.

– Девушки, с Международным женским днем! – мужичок поклонился индюшачьей шеей, торчащей из ворота. – Уже выпью сейчас за ваше здоровье как следует. Не дожду до завтра.

Попятился к выходу с беззубой улыбкой, запихивая свертки себе за пазуху.

Важенка вдруг позавидовала его веселому нетерпению. Как же так, праздник у нее и полногрудой, а ликует этот расхристанный мужичонка с воспаленным взглядом. Ему радостно, а им совсем нет. Его, наверное, кто-то ждет с этой водкой, с “Останкинской”, закипает вода под макароны.

День короткий, предпраздничный, с работы отпустили на час пораньше. Вместо тротуаров – серый лед, залитый водой, вместо неба – туман. Деревья вскинули к нему черные голые руки. Важенка еле-еле по этому льду, семенит старушкой – в сумке полкило “Любительских”, скрипучий тюльпан прижат к открытке, на которой таких три, точно тот, живой, отражается и множится в ней, сзади рукой кастелянши небескорыстное “здоровья и успехов в труде”, подпись – “Администрация”. У детской поликлиники целый колясочный парк, грудничковый день, наверное. Рядом с крыльцом гора ноздреватого грязного снега, утыканная бычками и фантиками. Медленно разгораются фонари.

Дома в мартовские всегда шпарит солнце, капель, тесто подходит на пироги, но подросток Важенка, Ирочка Важина, не рада тесту, спешит убежать, улететь из этого приюта одиноких душ – она, бабушка, мать. Масло горит на чугуне, бабушкин рот кривится про материны жизненные промахи. “Никогда Ирочку особо не любила, что я, не знаю, что ли, и меня ни в грош... Двенадцать, тринадцать...” Валокординовая капель. На телевизоре кружевная челочка салфетки, а сверху дулевская плясунья-лебедушка в золотистом шушуне поверх фарфоровых юбок.

– Заткнись, – материно истошное уже за Ирочкиной спиной.

Не успела вовремя захлопнуть, и этот крик выпал вместе с запахом масла вслед за ней и стоит на лестничной площадке между ней и соседкой Секацкой. Она говорит: “Посидишь у нас?”

За дверью Секацких – рай, всегда рай, всего-то в четырех Ириных шагах. Как так люди могут разговаривать? Как в кино – весело, ласково, шутят.

– Как ты думаешь, я – баловень судьбы? Только честно.

– А как еще, конечно, честно! В семье не может быть двух баловней!

Ирочка смеется, иногда не понимает, но все равно смеется – что за люди, что за жизнь! Вот же как надо.

На кожаном диване с высокой стеганой спинкой и золочеными клепками Ирочка разглядывает альбомы по архитектуре. Детских книг у Секацких нет. Тяжелые глянцевые страницы, острые по краям, однажды порезала палец.

– Ну-у, – говорит архитектор Секацкий, бросив взгляд на фотографию в альбоме. – Большой театр – это что?

– Амбир? – краснея, предполагает Ирочка.

– Молодчина, – радуется он, горделиво смотрит на жену. – А Зимний дворец?

Запах сдобы, и масло не горит, черничное варенье с алым подбоем пупырится темными ягодами в белых розетках, льняные салфетки геркулесового цвета со сдержанной мережкой.

– Представляешь, в месткоме подарили, – смеется зубной врач Секацкая, доставая из сумки фарфоровую фигурку – к девушке в красной косынке ластится гусь.

Секацкий, в фартуке и мукé, – Восьмое марта – растирает белки добела, до пены, просеивает сахар, хохочет у плиты, разглядывая птичницу, на бедро которой гусь уложил свой клюв. Смеется и Важенка – через неделю она разобьет у себя лебедушку с телевизора, разлетятся по кусочкам ее перламутровые юбки.

– Мещанство же такое, как не понимают, – качает головой Секацкая, вместе с ней качаются ее опаловые серьги.

– Вы отрастили волосы? – удивилась как-то мать, отпирая дверь.

– Я подумала, что мы такие все одинаковые с этой химкой, у всех кудряшки, кудряшки...

Вот да, решила, – улыбается Секацкая с мусорным ведром.

Мать потом, снимая сапоги друг об друга, шипела в прихожей – хлебом не корми, дай выпендриться, “все такие одинаковые!”. А ты одна, блин, такая раскрасавица жидовская. Там, где про одинаковость, мать непохоже меняла голос под Секацкую, сильно заводила глаза вверх. Снимает носки и колготки, нюхает их.

– Они поляки! – кричит Важенка.

– Поляки, поляки, – почти мирно бормочет мать, вычищая катышки между пальцами ног.

* * *

За Ларой заехал Левушка – теперь поздно вернется. Тату пригласили в “Север” на Невском. Вот интересно, есть кафе “Южное”, а у Важенки в городке ресторан “Восток”, и “Восточный” где-то видела, но никогда ничего про Запад прогнивший. После “Севера” поедут на какую-то дачу танцевать, ночевать, обещала только завтра к обеду, и только Важенке некуда пойти. Она жадно вглядывалась в законный уют светящихся стекол, за которыми радостно хлопочут, это видно даже с улицы, с ледяных мокрых асфальтов. Ах, если бы в гости, чтобы ждали, обнимали на пороге: мой руки и за стол! Перезвон вилок, бокалов, сильно пахнут соленья, салаты, дым “Явы” и болгарских, еще сигареты “Космос”. Чьи-то долгие взгляды через стол, под “Машину времени”, длинные поцелуи на куче чужих пальто, брошенных куда попало – на диван, на кровать, на диван-кровать. У поцелуев вкус крема “Жэмэ” и болгарской розы, так пахнет воротник чьей-то шубы и сама Важенка. В полутьме, в полутанце его уверенная правая шагает между ее ступней. В старших классах они всегда собирались в канун праздника или в сам день, только бы прочь из дому, и так волнующе бежать по утоптаным за зиму снежным тропкам, подмороженный вечер, и сыплет последний снег, замечая темные проталины, легкий морозец кусает за колени в тонком праздничном капроне под рейтузами, и обмирает сердце от близкого будущего. А в последний год дома восьмимартовский вечер был ясный, без снега, луна бежала рядом, и в ее ровном взрослом блеске – поддержка и снисхождение.

Как могла я оказаться одна в праздник, думает Важенка, с тюльпаном, открыткой, сосисками в сумке, посреди ледяной улицы? Но спасается тем, что ей не надо домой, к бабушке и матери, в одинокую тоску, умноженную на три, и что в одном из теплых прямоугольни-

ков света, электрического, размытого туманом, розоватого, сливочного, разного, ей тоже есть место, совсем-совсем рядом, и она ускоряет шаги.

* * *

Утром в половине одиннадцатого Анька подняла всех с шумом, криками, и каждой в постель подарочек.

– С дуба рухнула? – ласково спросила Спица, принимая сверток. – Это же денег сколько.

Анька искрит, тараторит, что деньги взяла в долг, четвертак, отстояла вчера очередь в “Ванду” на Старо-Невском, так хотелось всех порадовать.

Важенка садится в кровати, не в силах разлепить глаза. Почти вслепую открывает нарядную коробку из плотного картона. Все новое, все пахнет, из картонных доспехов, из сонных пальцев выпадает на одеяло тяжеленький крем “Пани Велевска” в темно-синем стекле, точно из старинной аптеки.

– А-а-анька, – сиповато со сна тянет Важенка, распознав знаменитую банку из “Ванды”.

Та хохочет, довольная, раздвигает им шторы, чтобы получше всмотрелись в подарочки.

Лара, тоже в кровати, ощупывает, как пчела, духи с нежным, а-ля камей, профилем на коробке. Дорогие, Ларе по статусу. У духов запах ландыша и розовой пудры, немного бабский, из бухгалтерии, но все равно пригодятся, на каждый день хорошо.

– Анечка, спасибо, – церемонно, без особой теплоты благодарит Лара: то ли не проснулась еще, то ли про Левушку подстучал кто.

За завтраком все только и хвалят Аньку. Она же разливается соловьем, как стояла в очереди, кто что сказал, две тетki подрались уже на кассе, праздник, все бесноватые, в обратной электричке к ней один подсел. От кипящего чайника побелели стекла, и нет для них нахмуренного неба.

А после завтрака окна отпотели, и слабый луч солнца мазнул по Лариным волосам с гречишным медовым отливом.

– О, солнышко, – говорит Лара и смотрит на Важенку многозначительно.

Нечего, мол, грустить. Лара садится на кухонный табурет, домашнее платье улетает вверх по бедрам, открывая кусочек белья. Красиво переплетает гладкие ноги чуть навесу, только потом всю конструкцию на пол, на правый носочек, блестящими коленками в потолок. Выгибается, забирает волосы высоко в хвост, голова недолго в треугольниках согнутых рук, покачивает ею – прочно ли? Щелкает косметичкой, беличья кисточка танцует по сияющей коже, персиковая пыль в солнечном воздухе. Пока она подводит глаза, рисуя яркие черные стрелки, Важенка не дышит, помогает ей животом. Легкие бисерные серьги долой, тянется за массивными, почти до плеч, в виде скрипичных ключей. Чуть мотнула головой, проверяя их тяжесть, ключи закачались, зазвенели. Важенка длинно выдыхает: пава, Лара, ты пава! Лара, польщенная, плавно машет: скажешь тоже! От серебряных ключей зайчики по стенам.

Важенке грустно: вот накрадется и улетит теперь с Левушкой. Ему и дела нет, что праздник и все женатые по домам олады жарят. Левушке плевать на жену, он давно уже выбрал Лару, они почти не скрываются. Хоть бы Тату к обеду прибило – ее поклонник чит Восьмое марта и семью: олады уже не успеет, а вот к ужину будьте добры.

– Не грусти, – Лара кисточкой проводит Важенке по носу. – Сейчас Тата приедет, посидите.

Лара упорхнула, и Важенка добровольно сдается Аньке в винегретное рабство. Раб Спица уже режет кубиками свеклу и ворчит: что за винегрет без горошка.

– Я вот лично его не очень, – Анька с мокрыми руками убегает открывать – в дверь трезвонят без остановки.

Это не Тата, а соседка Коржикова на костылях и с кучей тряпок от знакомой фарцы. Шмотки аккуратно разложили на Татиной кровати. Коржикова бубнит: футболка 25, пуссер 30, шапка-петушок, сами видите, фирма – за 25 отдам...

Ее парень Дыкин месяц назад порвал с ней из-за измены. Измена случилась так. Дыкин, его товарищ и Коржикова ночью пошли за водкой к таксистам, по пути завернули к бакам, выбросить мешок с мусором. Вернее, Дыкин пошел выкидывать, а Коржикова с товарищем остались ждать у гаражей. Вернувшись, Дыкин застал товарища с расстегнутой шириной, а Коржикову перед ним на коленях.

– Ой, умру сейчас, – Анька, всякий раз вспоминая историю, запрокидывала голову от смеха, крутила пятками велосипед. – Коржик, ты что, дура? От гаража до помойки минуты две ходу. Четыре – туда-сюда.

– Выпила я, – мрачно курит Коржикова. – Я вообще забылась, где, с кем, думала, что это Дыкин. Бывает, чё.

Дыкин дружка избил, Коржикову бросил. Она запила, каждый день названивала ему на работу, умоляла вернуться, угрожала покончить с собой. В один из вечеров прыгнула с балкона третьего этажа, но осталась жива. Только ноги переломала. В объяснительной не то докторам, не то ментам писала так: “Я вышла на балкон посмотреть, не едет ли Дыкин. Дыкин не ехал, и я спрыгнула”.

Важенка и Тата без конца цитировали друг другу эти слова, потому сейчас, увидев Коржикову с костылями, Важенка усмехнулась.

Тата вернулась только к вечеру, когда все уже напилось. Коржикова, от которой не удалось отделаться, пьяно плакала за столом о Дыкине, о том, что на местном неделю назад ей отказали в постоянной прописке, а ведь три года на этих козлов, день в день, почему, почему – за аморалку! И что сейчас ходит к ней один, дружок дыкинский, Серый, но все не то, все не то. Костыли темнели в углу.

– Не, а как ты с этим Серым, ну, это самое, в койке-то? – Анька кивает Коржиковой на несвежую повязку.

– У меня чё, гипс в трусах, что ли?

Анька откидывается на табуретке, дрыгает ногами от смеха. Она и Спица разошлись от водки: подсмеиваются над Коржиковой, перекидывая друг друга, поучают ее. Анька, щедрая душа, сбегала к себе в комнату и вернулась с флакончиком “Быть может” – на, только не реви! Коржикова полезла обниматься, благодарно завывала уже в голос.

Тата смотрит на них с ужасом, курит нервно на углу стола. Тата, иди сюда, чего ты там села, семь лет замуж не выйдешь!

– Что случилось? – тихо спросила у нее Важенка, когда та пересела ближе.

Тата сначала ей, а через три рюмки уже всем рассказала, что с кавалером они расстались. Вот что с ней не так, спрашивается: стоит влюбиться, как пожалуйста, извольте губу закатать. Как будто он раньше не знал, что женат, до перепиха. Слово это не ее, водкой принесло, поэтому Тата произносит его через запинку. Анька с Коржиковой ахают, головами крутят – такая красота, и на тебе, туда же, совсем мужики того. Спица задумчиво разглядывает Тату.

– Вот, – говорит Тата и вытаскивает из сумки французские духи. – Типа, откупился. Держи, дорогая, и вали на все четыре...

Анька и Коржикова даже задохнулись от Татиной наглости: вот же, все есть, чего горевать-то – не парень, золото. Важенка им вторит, делано восхищается, ей нравится, что Спица от зависти прикусила губу. Полузакрыв глаза, глупо нюхают воздух вокруг затянутой “в слюду” коробки. Вы еще лизните, зло говорит Спица. Важенка широко улыбается.

Ввалился новый ухажер Коржиковой. Он даже не пьян, а как-то безумен совсем, качается, огромный.

– Психический, – тихо определила на кухне Спица, которая открывала ему. – Мне кажется, он одеколону где-то хватил.

Коржикова разбиралась с ним в прихожей. Он куда-то волок ее, она упиралась, мат-перемат. Анька два раза, не вставая, толкала ногой дверь из кухни и предлагала им отправиться к себе отношения выяснять, но никакой реакции. Внезапно раздался глухой удар, что-то полетело, зазвенело, заголосила Коржикова. Все четверо вскочили, но на пороге кухни уже вращал белыми глазами Серый. За его спиной на полу в коридоре барахталась в своих костылях бедная Коржикова.

– Ты охренел, что ли, дебил несчастный, – завопила было Анька, но “дебил” быстрым движением захватил со стола нож, выставил его вперед.

Обычный такой столовый нож, с деревянной ручкой, лезвие в зазубринах и сколах, а вот на кончике гнутый – что-то ковыряли им.

– А ну быстро все в комнату, – заорал он, вставая боком, чтобы освободить проход. – Туда, я сказал. И ты давай туда же, шалашовка херова.

Коржикова, воя, ползла по полу к костылю, который отлетел к входной двери. Анька кинулась к ней на помощь.

Серого трясло, и нож ходуном в его лапищах. Почему-то Важенка все время думала о том, что на кончике он загнут. Еще ей хотелось добежать до своей кровати, там подушка, схватить ее, закрыться, если что. Бледные, вмиг протрезвевшие, в комнате они построились почему-то по росту, потом Тата перебежала к Важенке. Нашла ее ладонь внизу, сжала. Важенка ответила ей, и нет ничего сейчас, кроме этой руки.

– А ну, суки, вниз, на пол, – Серый свободной рукой пытался расстегнуть штаны. – У меня для вас кое-что есть...

Никто даже не шевельнулся, чтобы на пол. Как будто ждали еще одного, следующего страшного шага, чтобы подчиниться. А трясущийся нож не убеждал, они уже его видели, из-за него и стояли тут в униженный рядок. К тому же он не мог расстегнуть брюки, и, считай, ход назад отыграли.

В дверях стукнул ключ, но Серый его не слышал – лицо его прыгало, слюна закипала в уголках рта. А через секунду Лара уже весело кричала что-то с порога, снимая сапоги.

– Убери нож, идиот, – Спица повернулась и шагнула к себе в комнату.

Анька попятилась за ней. Важенка тянула Тату за руку к своей кровати, а у Коржиковой прямо истерика:

– Лариса, беги за ментами! Сюда не ходи.

Но Лара, оживленная с улицы, с сияющим, мокрым от снега (дождя?) лицом, уже протискивается между косяком и плечом Серого. Задев краем глаза поникший нож, больше туда не смотрит. Говорит повелительно-ласково:

– Так, это что еще? Вас ни на минуту не оставить. Дети малые. Пойдем-ка со мной на кухню, друг ситный, скажу чего. Пойдем-пойдем, выпьем, я коньяк армянский привезла.

Лара берет Серого под руку, тянет на кухню.

Глава 2

Абитура

Ближний загородный поселок с широкими регулярными улочками раскинулся в прохладной тени нагретых сосен, в июльском послеобеденном часе. Каких-нибудь четыре попелудни, когда мамочки-дачницы, позевывая, уже накрывают на веранде полдник, сонно отгоняя муху. Ломают печенье в щербатую дачную тарелочку, чтобы потом, когда их возлюбленные чада проснутся, залить его молоком. Тщательно моют голубику, купленную на платформе у бабушек, в эмалевой миске под рукомойником в летней кухне. Разболтанный стук носика. Солнечный луч, с трудом продравшийся сквозь темные игольчатые кроны, сквозь мутноватый барбарис и дюшес витражей, ложится неяркими цветными пятнами на пачку печенья, руки, тарелочку на затертой клеенке, припахивающей холодной жирной тряпкой.

Тата с Важенкой идут с залива. У Важенки в руках газетный кулечек тоже с ягодами, немного намокший от сока у самого дна.

– Ты злая, что уснула, да? – спрашивает Тата. – Но ничего, целый вечер у тебя еще. Ночью тоже. Сколько тебе осталось?

В полдень она уговорила Важенку пойти на пляж, когда зубрить стало совсем невозможно. На заливе тоже можно учиться и загорать заодно.

На берегу было солнечно и бурно, ветер трепал страницы учебника, никак не сосредоточиться. Они ушли в траншею рядом с пляжем. Сын хозяйки, у которой они снимали жилье, рассказал, что траншеи эти проложили в войну для подхода к пушкам. А еще в Ольгино зимой 42-го базировался целый бронепоезд, выкрашенный для маскировки в белый цвет, чтобы не допустить прорыва финских лыжников со стороны залива.

В траншее, заросшей серебристой жесткой осокой, ни ветерка и здорово припекает. Важенка в обнимку с “Физикой” вскоре задремала.

Тата сразу сбежала на пляж. Бродила по щиколотку в воде. Пинала прозрачную мелкую скуку залива, радуясь возможности позагорать в эти безумные дни вступительных. Солнце поджигало брызги. Оглядывала себя поминутно, подгоняя лучи не лениться с загаром. Пять минут, пятнадцать, спи-спи. Надо повернуться лицом. Девочка в белой панаме копала мокрый песок. Тата уселась рядом вязать для нее плотики из сухого тростника, который приносило сюда из Петергофа.

На этот раз Важенка совсем отчаянно боялась провалиться. Там какое-то угнетение со стороны семьи. Ну как семьи. У Важенки только мама. Тата усвоила еще в школе, что никаких вопросов о родителях детям из таких семей не задают. Из неполных или неблагополучных.

Важенка о доме не молчала. Иногда рассказывала какие-то веселые или трогательные вещи, из которых было понятно, что и она скучает, думает о своих. Молчала она о чем-то главном. О какой-то драме, горестном опыте, о чувстве или его отсутствии.

Тата тоже ни за что бы не вернулась домой. Дело даже не в тяжелой зимней спячке, в которую так надолго погружался родной город, не в замедленном ходе событий, не в укладе. Бабушка бесконечно вяжет пятку под Штирлица, брат расшатывает зуб за обедом, сколько же у него зубов. Мама с отцом обсуждают сослуживцев, мама начинает “а наша-то сегодня”, имея в виду кого-то из бухгалтерии. Держит долгую паузу. Тогда слышно, как швыряет горячим супом отец. Дело в другом. Сбегая оттуда, Тата верила, что больше не вернется. Что поступки, которые успела там на совершить, спишутся с ее счета, сгорят в топке стыда. Так огромен он был.

В девятом ее лучшую подругу бросил Шевелев. Он был завален прыщами, а чемоданчик-дипломат придерживал на ходу указательным пальцем. Над ним не то чтобы смеялись, но

подсмеивались. И тем не менее он бросил Валью. Она плакала Тате в телефон, плакала живьем, даже ночью звонила и плакала. И говорила, как в кино, “он вся моя жизнь”. Это Шевелев-то! Тата не помнит, почему однажды он пришел к ней домой после уроков. Был предлог, задачи по физике. Оба понимали, что физика тут ни при чем. Тате запомнилось, что, сняв ботинки, он надел папины тапочки. Прыщи исчезли, только когда она закрыла глаза. Они целовались, и его ледяные дрожащие пальцы искали под кофтой ее грудь... Запах лука от кожи вперемешку с чем-то шипровым. Если бы кто-нибудь мог объяснить ей – зачем?

Теперь у стыда запах лука. Еще “Дэты” от комаров. Так пах диван на веранде у Паши Денисенко, к которому Тата, перекрестившись, приехала лишаться девственности. Там было много комаров, “Дэтой” пах диван и два их неловких тощих тела. Досаду и боль она прятала в раздражение от укусов, от комариного зуда. Грязно ругалась, чесалась. С размаху била себя там, где кусали, и там, где нет.

Просто незадолго до выпускного Тата подслушала в школьной раздевалке, как Цыпин, в которого она была влюблена, нет, не так – она его смертельно любила, разорвался, что с целками одна возня, намучишься только, кровь, все дела. Неэстетично, сказал Цыпин. Вот Тата и поехала к Денисенко, который ходил за ней с третьего класса. Паша снял очки и отложил “Квант”. В комарином звоне перетерпела всю его неумелую ласку. Выстрадала себе Цыпина. Подготовилась.

После выпускного какая-то вечеринка с дешевым вином, чья-то дача. Цыпин вышел во двор покурить из комнаты, где, свернувшись калачиком, плакала Тата, и, чиркнув спичкой, сообщил кому-то невидимому: какая еще девочка, кто свистанул, что она девочка, там ведро пролетает. Тата услышала через открытое окно.

Зачем?

Наблюдая в иллюминатор проплывающие крыши своего города, Тата оставляла не детство и милый дом, а юные грехи, безумство которых жгло ей сердце. Прощай, холодно думала она. Если и вернусь, то на пару каникул, и только.

Она даже не пыталась оправдать себя глупостью, юностью, яркостью первых желаний. Ведь оправдание есть результат мысли. Она просто выучилась не думать об этом. Брезговала думать об этом, горько отмечая, что весь этот стыд никуда не делся, а застрял в ней. Но Тата всерьез надеялась со временем все забыть.

Мир не рухнет в тартарары, если завтра Важенка не сдаст физику. Сама Тата вообще еще не уверена, пойдет ли послезавтра на экзамен. Месяц назад один известный актер сделал ей предложение, и Тате так хочется сейчас говорить об этом, обсудить все в деталях – может быть, ну ее, эту учебу. Зачем ставить все на одну карту, как Важенка. Правда, актер сейчас с женой в Ялте, но именно там и должно состояться их объяснение насчет Таты. Прутиком на песке вывела его инициалы.

Важенка проснулась злая. Лицо с одной стороны у нее обгорело.

За “железкой” уже не ветрено. Разморенные, красные, они вышли на привокзальную площадь, залитую зноем, где у продовольственного в тенечке сидели бабушки с ягодой и семечками. Тата бросилась к бочке с квасом: ты будешь? Видела, что Важенке хотелось пить, но та сердилась на Тату из-за дурацкой пляжной затеи, и потому желания их не могли совпадать. Важенка купила у старушек ягоды, ела немывтые, уставившись на замурзанные войлочные тапки продавщицы квасом. Та неспешно мыла граненый стакан, восседая на колченогом столовском стуле, вздыхала. Долго мокрыми руками возилась в тарелке с мелочью, давая сдачу с рубля. Вздыхала. Задрал клеенчатый фартук, пристраивала этот рубль в карман халата к бумажным деньгам. По краю лужицы под бочкой, от которой подванивало скисшей бражкой, расхаживал, вертя гладкой башкой, голубь. Квасшибанул Тате в нос, слезы выступили.

– Будешь? – протянула стакан Важенке.

Тихо и жарко. И только из открытой настежь двери столовой на всю площадь слышно, как что-то там у них льется, звенят стаканы. Двигают стулья – такие тяжелые, с железными черными ножками и щепистой фанерой, об которую вечно рвутся колготки. Запах хлорки и подгоревшей запеканки.

– Пойдем уже, – цедит Важенка.

На перекрестке с их улочкой Важенка припала к колонке, пила долго, жадно. Тата загадала, чтобы вместе с брызгами разбилось о бетонную плиту, утекло в землю ее раздражение.

У самой калитки соседские дети, видимо, уже съевшие свой полдник, гомонили в кругу: ты водишь! – нет, он вода!

* * *

Они снимали часть сарайчика, крытого рубероидом, за задней стенкой которого жили нутрии. О жильцах другой половины домика – мамочке с двумя детьми – знали почти всё, все нюансы жизни за тонюсенькой фанерой, которая протекала в основном вокруг стола и горшка.

“Мама, писать”, – кричал в три ночи соседский ребенок; скрежет кроватной сетки, скрип половиц, крашенных охрой, волоком горшок из-под кровати, дребезжание крышки, звук струи об эмаль.

Поначалу жизнь в чужих утомительных подробностях казалась невыносимой. Но через два дня они привыкли, подробности эти растворились, став деталями их собственной жизни, которые обычно незаметны. “Мама, писать”, носились и плакали нутрии, Тата с Важенкой тоже по очереди вставали в туалет, хлопали двери сарайчика и уборной на улице, горшок задвигали, гремела крышка, скрипели железные сетки. Пописали. Всё.

В комнате, где из всех углов тянуло сыростью и мышами, – у обеих насморк нескончаемый, – две металлические кровати с затхлыми тяжелыми одеялами, диванчик, на который они никогда не садились из-за бурых разводов на засаленной обивке. В крошечном предбаннике электроплитка. Зато далеко от бешеной сестрорецкой квартирки, говорила Важенка. Тата поначалу ныла, что можно готовиться и там, пока девочки на работе. Удобно, горячая вода, душ, но Важенка отрезала – нет!

– У нас был год для этого. И много мы выучили? Здесь прекрасная баня. На дровах.

Взяв отпуск, они переехали по своей же ветке в дачный поселок, ближе к городу. Важенка подала документы в Политех, страшась снова пролететь в университет, Тата решила поступать в Институт культуры.

Почти каждый день Тата под разными предлогами моталась в Сестрорецк. Подолгу пила чай с девочками, сплетничала, курила, принимала душ. Грустно возвращалась в сырую нору, как она окрестила сарайчик. Ей не казалось таким уж страшным провалиться и в этом году – значит, в следующем поступят. В “Сосновой горке” было неплохо, люди все хорошие. Совсем не хотелось уператься и рвать жилы.

* * *

Лыжники в масках бесшумно скользят по снегу, белый бронепоезд прячется в соснах на перегоне Ольгино – Лисий Нос. Ресницы тяжелые от инея, ледяные корочки на шапке. Она балансирует на рельсине, поджидая поезд, и очень боится не разглядеть его на фоне белесого зимнего неба. Силуэт паровоза издалека похож на замочную скважину, слышен его нарастающий звук. Очнулась потная, с пересохшим ртом, вся в песке и комариной мази, кричали чайки, и голова теперь тяжелая, заторможенная, до вечера не выправится. Веселенькая Тата играла с каким-то ребенком у воды.

Поняв, что сгорела глупо и неровно, левая щека, висок, что время и настрой упущены, экзамен завтра в неумолимые девять, Важенка разозлилась на себя, на Тату.

Дома, намазав пылающее лицо детским кремом, вскипятила чайник и села заниматься. Тата, у которой экзамен был только через день, со вздохом устроилась рядом. Ждала, чтобы остыл чай, наблюдала, как хозяйка во дворе развешивает белье. Залетевшая муха ударилась в стекло, шуршали нутрии. Важенка внезапно отшвырнула задачник на пол, Тата вздрогнула.

– Я больше не могу, – глухо через сомкнутые на лице ладони. – Меня тошнит. Я ничего уже не соображаю, вот ничего. Даже не вижу. Мозг больше не фиксирует.

– Много еще? – Тата осторожно дотронулась до ее локтя.

– Из семи разделов – три мимо. Волны, оптика, теорию относительности вообще не помню, – Важенка вскочила и забегала по их тесной каморке. – По объему это где-то одна треть, даже одна четвертая. В принципе, часов за пять можно было бы. Хотя бы прочитать. Но не лезет больше, понимаешь, не ле-зет.

Она бросилась обратно к столу. Крутанув к Тате список вопросов, водила пальцами, горячась, перелистывала. Большинство номеров были взяты в карандашный кружок – выучено!

– Эх, надо было тебе из всех разделов понемногу учить, больше вероятность, – Тата хлопнула комара у себя на икре. – Слушай, пойдем прогуляемся, нутриям животики почешем. Постираем на колонке, а ночью снова сядешь учить.

Важенка молча застыла перед ней.

– Мне нельзя домой, – вдруг тихо произнесла она.

Понимаю, кивнула Тата. Задумалась ненадолго. Погладила телеграмму от родителей, которая служила закладкой в учебнике. Хорошо сдать экзамены держи хвост трубой целуем.

– Важенка, – вдруг отважилась она, – ну, подумаешь, не сдашь! Вернемся в “Горку”, еще годик, подготовимся как следует...

Важенка в сердцах ударила ладонями по краю стола, чуть отстранилась от него. Опустила голову. Резко и горько выдохнула куда-то вниз:

– Там быдло, Наташа! Как ты не понимаешь! Там дешевое быдло! Мы сами скоро станем такими же, если оттуда не уйдем. Какой на фиг годик! – У Важенки горела сожженная щека и лоб. – Я не могу провалиться. Это невозможно. Надо что-то придумать.

* * *

Из города Тата вернулась восьмичасовой электричкой. В восемь тридцать хлопнула калитка, и она уже топала по дорожке обратно к сарайчику, на ступеньке которого курила Важенка. Подняла голову навстречу – как?

Тата, блеснув глазами, соединила большой и указательный в колечко – все гут! Важенка вскочила, пропуская ее в комнату, охнула за ними облезлая дверь.

– Телеграфистка на Финбане вообще не хотела брать. Такая мне говорит: съездите, тут пять минут на электричке, нельзя телеграммы с таким текстом, нужно, чтобы врач заверил.

Важенка шипела: тише, тише, – и сама себе закрывала рот от волнения и восторга.

– Я ей: у меня ребенок маленький, не могу на электричке, грудной, – шептала Тата, показывая ладонями размер этого ребенка, отрезок его.

Важенка тихо взвизгнула от смеха, сложила пополам.

– Кстати, ее сейчас принесут. Готовься, тебе придется плакать, – Тата показала глазами на перегородку, за которой подозрительно тихо.

На этот раз затряслись обе. Тата потом сидела с подушкой на коленях, раскачивалась, пряча туда смех, когда Важенка вошла уже с врученной телеграммой. В дверном проеме за ее спиной маячили на дорожке хозяйка и почтальонша со скорбными лицами. Важенка подрожала им плечами напоследок и закрыла за собой дверь.

– Уже рыдай, – тихо приказала Тата и ушла лицом в подушку.

На срочном бланке с синей полоской сообщалось: “Умерла сестра переговоры 1 августа 12 Москвы”. День и час экзамена. По плану Важенка зайдет в аудиторию одна из первых, час на подготовку, и в самый момент ответа экзаменатору принесут телеграмму – за это уже отвечает Тата и ее лучезарность.

– Ты точно ко мне прорвешься? Там в главном корпусе на входе все столами перегорожено и старшекурсники дежурят.

Тата фыркала и заводила к потолку свои желто-зеленые глаза – обижаешь!

Расчет был прост: чтобы побыстрее отпустили, не мучили, ну и пожалели, конечно. Рука не поднимется поставить двойку при такой телеграмме. Теперь предстояло аккуратно переклеить город отправления на Татин “Петропавловск-Камчатский” для пущей правдоподобности. Тата сначала подцепила ногтем свеженаклеенный “Ленинград” и осторожно оторвала только это слово, придвинула к себе недавнюю телеграмму от родителей. Важенка наблюдала, вытянув шею. Но “Петропавловск-Камчатский” так просто не поддался. Бритву гони, выдохнула Тата. Важенка раскрутила станок и протянула ей лезвие. Та виртуозно срезала название родного города.

– А чем клеить-то будем на срочную? – спросила Тата, помахивая полоской в воздухе.

Сбегала к хозяйке, потом к соседям за стенкой – нет клея.

– Соплями, – пожалала плечами Важенка и потянулась за платком. – Гони спички.

Соплями и приклеила, пока Тата, уже обессиленная от смеха, беззвучно каталась с подушкой по кровати.

* * *

Второй вопрос она не знала. Сразу засуетилась, стала что-то глупо уточнять, таким тоненьким голоском. Сев за парту, долго не могла взять себя в руки – сквозь серую машинопись формулировки никак не проступал смысл. Сглатывала от волнения. Начала строчить на листочке первый вопрос подробнейшим образом – как раз вызубрила накануне. Успокоилась сразу. Но второй, как быть со вторым? Из глупой, наилегчайшей, неохваченной оптики – ну, ни ухом ни рылом же. Третий вопрос – задача, пробежала глазами, не поняла пока, как решать.

Дверь в аудиторию открылась, и дежурный с красной повязкой на руке преувеличенно осторожно, на цыпочках, прошел к комиссии. Важенка взглянула в приоткрытую дверь и ахнула про себя, увидев в коридоре Тату, затянутую во все черное. В руке она взволнованно комкала белоснежный платок. Важенка криво улыбнулась.

Ужас заключался в том, что в руках дежурного ничего не было. Он наклонился к преподавателям и назвал ее фамилию, попросил вызвать побыстрее, так как в приемной комиссии ее ждет срочная телеграмма – дома нехорошо. Она почти не дышала, чтобы все расслышать. Слишком рано, слишком вскользь о беде.

– Я только билет взяла, еще двадцать минут не сижу, – возмущалась Важенка, когда через минуту ее пригласили отвечать.

– Ничего, ничего, мы тут сейчас с вами вместе все придумаем. – У экзаменатора была совершенно фантастическая внешность: длинный лысый череп, на кончиках острых ушей шевелился седой пух, за толстыми линзами глаза навывкате, совсем раchy, и что-то такое с челюстью, что сразу наводило на мысли об компрачикосах.

Этот похожий на инопланетянина человечек только что отправил с неудом хорошенькую девицу, которая до последнего что-то втирала ему о запутанных личных обстоятельствах, канючила: еще что-нибудь спросите, – заплакала в конце. Но тролль был непреклонен, смеялся, обнажая траченные от курения зубы, бедная девушка.

– Начнем с задачи, – сказал он, не обращая внимания на протесты. – Не знаете, как решать? Времени не было? Ну, мы сейчас вместе, вместе. А давайте-ка вы мне про эту шайбу все, что можете из физики, по любым разделам. Вот все, что в голову придет. Итак, она у нас скользит с начальной скоростью до удара о борт площадки...

Весело и сухо потер ладони, а Важенка вдруг поняла, что следующая вещь после физики, которую ценит этот странный человечек, – чувство юмора, и пульс ее выровнялся. Она понесла околесицу вокруг чертовой шайбы, заходя с разных сторон, из разных разделов, и он снова прокуренно смеялся, помогал наводящими вопросами, пока Важенка не набрела на решение.

– Удар был абсолютно упругим, и потеря скорости у шайбы не было, а значит, и не было потеря кинетической энергии? – негромко допытывалась она.

– О! – он удивился и впервые взглянул на нее с интересом. – Молодец!

Его улыбка уехала левым углом вверх, и Важенка быстро, прямо на милых рачьих глазах, вычислила путь шайбы после удара. Дальше она хотела подробно и звонко начать рассказывать первый вопрос, но диво-экзаменатор покачал головой. Так вот тут на листочке у вас все изумительно изложено. Смысл? Давайте-ка ко второму.

Она помолчала.

– Я его не знаю, – сказала трагично и твердо, прикидывая, что два уже не поставит точно и она нравится ему, нравится.

Троль взял лист бумаги и принялся энергично писать дополнительные вопросы, с которыми повезло несказанно. Спасибо, спасибо, она поднимала глаза к потолку всякий раз, когда после ее ответа он показывал ей большой палец, желтый от табака. А вот пятый, последний, был из теории относительности.

– Самолет летит из Москвы в... Из какого вы города?

Важенка ответила.

– Из Москвы в Ангарск. На борту у него яблоки, вот столько, – он ткнул авторучкой в листок. – Изменится ли масса яблок...

И вот тогда, тогда, даже не дослушав условий вопроса, на который все равно бы не ответила, Важенка перебила его ясным ликующим голосом:

– Да, треть сгниет. А потом, в Ангарске нет аэропорта.

Он долго не мог успокоиться, хохотал через кашель, задышался. Вытирал слезы грязноватым огромным платком, потом очки, лысину, наконец взял ее зачетку.

– Там какая-то телеграмма для вас, в приемной комиссии. Из дома, кажется.

Увидев, что он выводит “хорошо” неожиданно каллиграфическим почерком, Важенка рассеянно переспросила: из дома? – медленно подняла на него глаза и заплакала.

* * *

На Климате толкались. Здесь всегда так. Никакого отдельного павильона у станции метро “Невский проспект” не было. Эскалаторы вынимали людей из-под земли, тащили в стеклянный вестибюль, встроенный в первый этаж дома, что на углу канала Грибоедова и Невского. Из вестибюля двери распахивались напрямик на Климат – глубокую лоджию, через арки которой пассажиры вытекали на проспект и Грибанал. Благословенный пятачок Ленинграда, под крышей, без снега и дождя, с дырами арок на две стороны, ничей, общий, фарцующий, влюбленный, смеющийся, в слезах, обдуваемый теплым воздухом из метро – потому и Климат! – здесь не холодно ждать, можно курить. Парочки качаются часами, не расстаться: ты первый, нет, ты! Тощие подростки с “пластами” под мышками, гундосят чего-то в своем кружку, бесприютные, обмотанные шарфами, в дырявых карманах – только проездной в табачном крошеве, ни копеечки на Лягушатник, Минутку, Сайгон. На маленький двойной ни копеечки. Рыскают центровые с серыми лицами, быстрыми глазками: фарца, валютчики, щипачи, жулики всех мастей.

Взрослые любовники страстно поглаживают друг друга – он расстегнул свое пальто, она туда шагнула.

Приезжие на Климате энергично работают локтями, прокладывая себе дорогу, ошалело озираются по сторонам: чего они все тут столпились? А нынешний дождик прибил сюда и народец с Казанского – студентов Финека и Педа, сорвал их со скамеек у собора. Тяжелый дух мокрых пальто, сигаретного дыма, Важенке даже показалось, что травки.

Она прошла сквозь толпу, высунулась на Невский: идет дождь, не кончился. Протолкнулась обратно к эскалаторам, чтобы не проворонить Тату.

От наплывающих лиц зарябило в глазах, в висках заломило – ну, где же ты, Татуся? Принесло Тату, в серебряном новом плаще, шикарную, незнакомую. Взгляд вдребезги о любимое лицо, о плащ – вот идет красивый человек! – Важенка не выдержала и рассмеялась. Всплеснула руками: откуда такое чудо? в ателье на заказ? Расстроилась. Ты вон какая, а я с бодуна, все внутри трясется. Пока обнимались, Важенка сказала: ты отличаешься от всех, ты серебристая белая ворона! А Тата ласково, в самое ухо: не сутулься.

На Климате прямо на их пути двое почти уснули в объятии, вросли друг в друга, длинные черные пальто, ее голова на его драповом плече, с отрешенной половинкой лица, юным скорбным полумесяцем. Тата фыркнула, Важенка закатила глаза.

На улице, пока расправляли зонт и радостно тархтели, подвалили двое центровых:

– Может, расслабимся, девчонки? Шашлычок по-карски, у? – один из них кивнул куда-то себе за плечо.

Говорил Тате, конечно же. Ростом ей по бровь, весь в фирме, глаза наглые, спокойные, в руках крутил мягкую пачку “Мальборо”. Она, раскованная, прекрасная, тускло и дорого мерцала плащом. Посмотрела ему за спину, усмехнулась:

– Мерси, мальчишки, спешим.

Он что-то кричал им вслед, что молодость не вечна, а жизнь проходит, но они не слушали. Захотали, рванули прочь, довольные этим первым успехом в бесконечности вечера. Спорили, кому нести зонт: ты выше, Тата, ты и неси. На Думской свернули в туалет.

Она сначала прошла мимо своего отражения в зеркалах, не узнала, потом вздрогнула, поняла. Рыжая. Это хна после завивки, которая сожгла ей волосы, – так отметила свое поступление в вуз: химкой, стрижкой – дура. Припухшая, сильно накрашенная девочка. Важенка повернула голову направо, налево, не отпуская взглядом свое отражение, потеряла щеки, чтобы хоть немного растушевать яркие полосы румян. Бледный рыжий клоун со странным сквозняком в груди, с ощущением нечистоты – снаружи, внутри, повсюду. Она опустила подбородок на грудь, вытянула из себя запах – табачищем! В горле ком от выкуренного.

Она долго мыла руки, рассматривая в зеркале двух проституток, решавших в сторонке какие-то свои проблемы. На одной из девушек были совершенно невозможные огненные колготки – таких не бывает в природе! – алое трикотажное платье, изящные лодочки цвета кино-вари, черный плащ тонкой кожи нараспашку. Она полыхала во всем этом в сером кафельном углу, кривила пухлый детский рот, выдувая пузырь из жвачки. Важенка бочком-бочком приблизилась к ним, встала рядом, делано позевывая. Подсмотреть, подслушать, о чем они, небожительницы.

– Решай сама, – тянула алая. – Братъ, не братъ. Если не берешь, я их сразу вон через улицу кину, Косте на Галеру, там за секунды уйдут.

Вторая, тоже расфуфыренная с головы до ног, но немного нескладная, длинная, тихо бубнила что-то, уговаривала. Алая выдохнула в сердцах, переменяла позу:

– Манала я такое счастье, – щелкнула жвачкой. – Три дня ждать. Что значит дорого? Ты на товар смотри. Это тебе не “Ранглер” сраный, это “Ли Куперы”, ребята сами в них ходят, не для приезжих.

Уже на улице Тата сказала в водяную пыль:

– Из “Европейской” девочки, там два ресторана, бар, вот сейчас покурят, потреплются, шмотьем потрясут, и на работу им, – взглянула на часы.

– Откуда ты все знаешь?

– Ну-у, меня туда водили, – загадочно тянет Тата, улыбается глазами в полумраке зонта.

– А что такое шашлык по-карски? – перепрыгивает через лужу Важенка. – Он будет там, куда мы тащимся?

– Блестящие модные подарки, девочки, подходим, не стесняемся, – цыганки в подземном переходе с золотистыми и серебряными ворохами тонких дамских ремешков приближали к ним темные лица, пытаясь заглянуть в глаза, – пусера, пусера, пусера, девочки.

Держа Тату под руку, Важенка ощущала тепло ее подмышки, грела там пальцы. Вдруг почувствовала, что идет по другому городу: у них с Татой они разные. Она сама все еще на подступах, у холодного камня фортов, карабкается по стенам, ломая ногти, спасибо, что смолу не льют. Тата – уже внутри, через ров, через залив, вбежала по мостику своего совершенства, ворота сами распахнулись, там ей тепло, вина в бокал, литавры и гобой, живая роза ассамблеи.

– Идем скорее. Там в пять часов оркестр, и сразу ценник другой. Можем успеть до них, не спи, – Тата ускоряет шаги.

С Невского три ступеньки вверх, два шага по крыльцу, утопленному уже в нишу здания, к высоким стеклам входа в знаменитое кафе, вдоль пасмурной очереди с поникшими зонтами, с которых сбегала небесная вода. Первая женщина в очереди, державшая за руку девочку лет десяти, даже задохнулась, когда Тата, немного выживая ее плечом, уверенно подергала длинную ручку. Швейцар внутри не сразу, но сдвинулся с места, цепко вглядываясь в Тату через стекла.

– Де-евушка, вы куда, а? Очередь не для вас? – женщина заикалась от возмущения. – Нет, вы посмотрите на них, а!

Сзади ее поддержали, загалдели. Какой-то мужик со ступенек, оставив зонт спутнице, опасно шагнул на крыльцо.

Тата запихала смущенную Важенку в приоткрывшуюся дверь, потом повернулась к разъяренной очереди. Бесстрашная, дождалась паузы, хорошо улыбнулась – улыбка у Таты тонкая, розовая – и сказала, совсем не заносясь:

– Зачем вы так кричите? Портите себе настроение. Вы же отдыхать пришли.

Потрясенная очередь замолчала. Одни, совершенно обалдев, смотрели на ангела, заляпанного дождем, намекнувшего на какое-то свое серебряное право быть там, внутри, раньше всех, – официантка? или в оркестре поет? Другие отвели глаза от стыда за девушку: так никто в стране в очереди не разговаривал, никто не заходил с этой стороны вопроса – отдыхать пришли? ах, вот зачем мы здесь! Замороченные, бурчали уже себе под нос.

“Где она этого набралась? – думала Важенка, снимая пальто у гардероба. – Что такого случилось с ней за два месяца порознь? Такого, чего не произошло со мной? С каких высот этот водопад великодушия? Так разговаривают люди, у которых есть всё, и даже больше, чем всё”.

Вслух негромко спросила:

– Ты дала ему рубль? Целый рубль?

В огромном зале цвета северного моря, с легкими занавесями, с бесконечными сводами, Важенке неуютно, неловко.

– Здесь раньше был банк, “Сибирский торговый”, кажется, еще до революции, мне рассказывали... Мясной салат, бутылку “Ркацители”, а на десерт профитроли с шоколадным соусом, пожалуйста, две порции, всего по два, ну, вы поняли. Спасибо большое, – Тата отдала меню официантке. – Ну как ты, Важенка? Рассказывай давай.

И главное, вся такая естественная, заботливая.

– Ты первая, – озирается Важенка, – тем более есть о чем, судя по всему.

И тогда, рассмеявшись своим колокольчиковым смехом, Тата говорит и говорит о своих мужчинах – о, про мужчин она может часами. Все они, разумеется, при деньгах, один даже известный, и все они, разумеется, козлы и некстати женаты, но Тата надеется, очень надеется, что однажды ей повезет. Здесь все сложно и нервно, но сегодня счастливо. Она на днях познакомилась с фантастическим мужчиной, и, кажется, на этот раз... тьфу, тьфу. Тата изящно подплевывает куда-то в левую ключицу.

– В перерыве в филармонии подходит такой, ручка наготове. Скорее, говорит, ваш телефон, пока он не вернулся. И прямо на программке. Я с мужиком была, так, художник один. Пописать отошел.

Обе смеются, чокаются. Да, на пары в “Кулек” она ходит, не каждый день, но ходит, а вот в общаге почти не появляется, скорее всего, будет снимать квартиру.

Важенка выпила, согрелась – перед ней цвела прежняя Тата, с соломенными завитками после дождя вокруг узкого темно-золотого лица. А у нее в группе дети сплошные, сразу после школы, и говорить не о чем. Задание получают, бросаются выполнять сломя голову, чего-то там друг у друга выпрашивают, вынюхивают, из библиотек не вылезают, соревнуются. Вчера был коллоквиум – нет, не сдала, даже не ходила.

В комнате их четверо, Важенка и три ее одногруппницы, – одна ничего так, хорошая, Саша Безрукова, а две другие... Важенка округлила глаза и мелко затрясла головой: ну, увидишь. Но самое главное – мать теперь деньги дает, сказала, пока учишься, буду высылать, брошишь – не видать тебе сороковника, как своих ушек. Да, и в Политехе у первокурсников в первом семестре всегда стипендия.

– Так ты богач?

– Не сегодня, – смеется Важенка.

Глава 3

Первый семестр

Бледно-кукурузная сталинка напротив “Лесной” всегда заплаканная, гепатитная. Или нужно дождаться лета? Треуголка фронтона нахлобучена на четыре сдвоенные колонны по фасаду. Саша не помнит своего ощущения от здания общаги в конце августа, когда увидела его впервые. Все перебила радость, что рядом с метро, и просто радость. Взволнованная, она сошла с эскалатора, волооча огромный баул. Уточнила у прохожих адрес – да вот же одиннадцатый, прямо перед вами! Ручки врезались в ладони. Ее догнала худенькая девушка с чемоданом и двумя холщовыми сумками, в одной из которых покачивался бюстик Маяковского. Вы ведь одиннадцатый корпус спрашивали? Ей тоже туда. Саша остановилась. У девушки в лице была какая-то несимметричность. Сама беспокойная, даже нервная, нежная, сразу понравилась Саше. Перешли Кантемировскую – перебежали в другую жизнь. Еще до крыльца решили жить вместе. Маяковский задумчиво смотрел в небо.

В первые недели на учебу ездили комнатными стайками, умытые, выпавшиеся, наперебой одаривая друг друга пятаками на метро – держи мой, а то пока достанешь... Щедрость, в которой плещется довольство посвященных – мы поступили, мы смогли! – радость новой жизни, без бабушек и мам. И пары, слово-то какое – у нас пары! и эпюры! и перебежки из корпуса в корпус, из одного красивого в другой прекрасный. Горела осень парковым золотом в окна главного здания.

Жизнь очертила кружок вокруг “Лесной” и “Политехнической”: на первой – спим, на второй – “школа”, как все вокруг называли институт.

Неспокойную девушку звали Важенка. Она отличалась. Хлесткая, всегда немного взвинченная умница. Ее спокойная дерзость совершенно пленила Сашино сердце. Саша была помладше, потише. Ей до дрожи хотелось с таким же шиком курить, сквернословить. Шутить – моментально, едко. Чувствовать свою женскую силу, как чувствовала ее Важенка.

Важенка проницательная, небезразличная ко всем и всегда. Цеплялась к прыщавой тихоне Лене Логиновой, к Марине Дерконос, еще двум обитательницам их сто одиннадцатой комнаты.

– Объясни мне, Лена, почему у тебя всегда такое уныние на лице? Вся мировая скорбь! Ты выпалась, у тебя выучена почти половина коллоквиума, – лежа на кровати, Важенка загибала пальцы. – Ты съела в буфете котлету, я видела. Судя сейчас по твоей безмятежности, с котлетой повезло. В чем дело? Ты живешь в комнате с лучшими девушками курса! У тебя нет причин для такого лица! Я слежу за тобой третью неделю. Плохие новости, дитя мое. Оно стоит на месте. А тебе еще замуж выходить!

Саша вздрагивала, потому что ей было почти плевать на всех остальных, кроме Важенки и Славки. Славка появился в группе только в октябре, и Саша влюбилась до гроба, как шутила Важенка. Шутила укоризненно, немного печально. Так казалось Саше. Все равно дружили. Никто не умел так легко и весело отвести от нее все тревоги и беспокойства. По поводу новой взрослой жизни.

– Ну, куришь! Да, нездорово. Но! – Важенка поднимала вверх палец. – Апельсин знаешь? Так вот, он продлевает жизнь на пятнадцать минут. То есть ровно настолько, насколько сокращает ее табак. Выкурила – будь любезна, апельсинчик. И все, Саша! Не парься. Или смейся три минуты, тот же эффект!

Саша слушала, смеялась, к ней возвращались силы и равновесие. Немного рисуясь, Важенка делилась с ней всем, что успела понять про жизнь.

– Саша, что значит нельзя? Ты вроде доросла, добежала до праздника непослушания и тут же строишь свою собственную клетку, весьма неумело, кстати. Как без нее! Ты свободна, Саша. Повторяй это себе. И да! вся свобода внутри.

* * *

У свободы вкус каменных буфетных булок – кубик масла, как единственный зуб в их разрезанном рту. Вкус томатного сока со сметаной – сто грамм сметаны в стакане долить соком, смешать и пить, прикрыв глаза, в память о летней салатной юшке. Вкус жареной картошки, вечной, вечерней, на пахучем подсолнечнике. У свободы вкус бочкового кофе, пустого супа, дешевого портвейна, водки, занюханной – ах, чем только не занюханной, иногда ничем. У свободы желтоватый цвет туманного утра Выборгской стороны. У свободы сырость сиреневых сумерек, когда после школы обратно на “Лесную”, запах новых тетрадей, старых учебников, метро, прелой листвы, духов “Каприз”.

Кто-то из ленинградцев на семинаре, обнюхав сзади их тонкие шейки, затылки, спросил у Саши:

– Слушай, а вы чё, одними духами все душиетесь?

Саша вспыхнула. Важенка ненаходчиво огрызнулась – да пошел ты! Засмеялась.

Духи так и назывались, “Каприз”, и флакончик был не один, а два или даже три, но никто из четверых не разбирал, мой, не мой: брали с полки, душились, и вперед. Особенно по утрам, когда подъем за полчаса до лекции, туалет, почистить зубы, надевали первое, что выпадало из шкафа, часто не свое, кичились этим. Это бравада была сродни пятакковой вежливости – так праздновался новый статус, уход от родительской власти.

Важенка, которая уже в “Сосновой горке” наелась общежития, скрипела зубами, обнаружив, что в ее любимом свитере ушла Марина Дерконос.

– Слушай, Дерконос, я тебе сто раз уже... Это же не говно цыганское, а за бешеные бабки у фарцы. Не надо брать это, Марина.

Дерконос, лупоглазая, веселая, раскормленная дочь воркутинского шахтера, не дослушав, махала рукой: да иди ты!

– Девочки, я серьезно, – злилась Важенка.

Но ссориться еще не хотелось.

Саша с головой нырнула в общежитский быт, каждую неделю придумывая новые игры или меняя правила у старых. В конце сентября она уговорила девочек объединиться с комнатой одноклассников, чтобы питаться совместно. Мальчики ходили в магазин со списком продуктов и общим кошельком, девочки готовили. Важенку и лобастого старосту кинули на посуду. Важенка зверела, но пока во всем участвовала, так было проще выжить. К тому же во всех общественных затеях мнилось что-то правильное – нельзя одному, не воин! Свобода свободой, но страшно выпасть из системы, которая тебя взрастила: коллектив – бог! Через неделю все уже тяготились идеей восьмиместной столовой: девочки спотыкались в своей комнате о продукты, кассир обнаружил недостачу, Важенка ворчала, что их восемь, а посуды как после двадцати. Еще во время ужинов постоянно норовил примкнуть кто-то левый – в общем, все закончилось. Есть вчетвером было проще и логичнее, но и здесь с самого начала все устроилось бестолково. Октябрьскую стипендию просто не заметили, она куда-то сразу исчезла. Переводы из дома приходили в разные числа, потому сначала жили на деньги Саши, потом проели сороковник Важенки и Лены Логиновой. С нетерпением ждали, когда придут деньги Дерконос.

– Ты точно не из детдома? – спрашивала недружелюбно Важенка, возвращаясь с вахты, где среди бланков с переводами так и не находился долгожданный.

В институте после второй пары, когда столовые и буфеты Гидрокорпуса были переполнены, Важенка с Дерконос приноровились тырить сдобу с верхних полок стойки. Делали вид,

что им ничего не надо из еды, кроме булок или сосисок в тесте. Дерконос подходила сразу к кассе, где всегда страшная толкучка, демонстративно держа перед собой кошелек, а Важенка через головы стоящих в очереди захватывала сверху три булочки, если повезет – четыре.

– Марина, за две! – кричала она Дерконос, делая несколько шагов к кассе.

Та важно расплачивалась.

В этом гудящем аду никому и в голову не приходило пересчитывать булочки. Через пару дней догадались, что пункт с оплатой можно опустить. Крика “Марина, за две!” в прикассовую толчею было достаточно.

Вечерами крутились как могли. Важенка стреляла по комнатам подсолнечное масло, Саша с Дерконос по три-четыре картофелины. Комнаты-дарительницы запоминали, чтобы не повторяться. Логинова охотиться не умела, поэтому чистила прибывающие овощи, резала соломкой. Без ужина не оставались.

* * *

Наконец однажды вечером на столе рядом с аквариумом вахты обнаружился перевод из Воркуты.

– Тебе по полтиннику шлют? Ну ты и купец, Дерконос. Давай быстрее, почта скоро закроется, – Важенка радостно размахивала бумажкой. – Вставай, лентяйка!

Это была цитата. Дерконос накануне уже в ночи неожиданно прочитала им свои стихи. Там какой-то условный студент, скорее всего после ночи любви, игриво будил свою девушку в институт: “Вставай, лентяйка!” Дальше шла целая любовная игра, в которой Дерконос наверняка видела себя главной героиней. Заканчивалось все словами “и я, приоткрыв одеяла кусок, целую твою теплую коленку”. Важенка не захрюкала в голос только потому, что оценила бесстрашие Марины Дерконос, не побоявшейся ни ее насмешек, ни бронзового взгляда Маяковского с высоких книжных полок.

– Это Косте или Толе? – сдержанно спросила она в полной тишине.

У Дерконос с самого первого сентября образовалось сразу два возлюбленных. “Не, ты поняла? А мы-то чего сидим?” – смеялась Важенка Саше Безруковой. Синеглазая Безрукова, у которой тоже недавно случилась вечная любовь, только качала белокурыми кудряшками: “Ты их видела? Ну так и вот”.

Костя и Толя находились на каком-то самом последнем уровне мужской привлекательности, там, где мужчина становился для Важенки бесполом. Оба рельефные, безмолвные, родом из каких-то архангелогородских и карельских деревень, в вечных тельниках, припахивающие луком и потом, оловянный взгляд. Важенка часто приставала к Дерконос, как она их различает. На самом деле все три персонажа, включая Дерконос, были совершенно стремными, поэтому какие там межличностные отношения – кто? кого? с кем? – ее совершенно не волновало, она никогда не думала о них. Просто так про лентяйку ввернула, от радости близкой еды.

Дерконос, впрочем, не торопилась. Двигалась степенно, одеваясь, вздыхала за шкафом, делившим комнату на две части. Важенка бросилась на помощь. Подала ей пальто, сорвав с вешалки, потом осторожно достала с полочки шляпку-таблетку с вуалькой, как у Глебочкиной. Пританцовывала с ней, ожидая, пока Марина, кряхтя, застегивала сапоги. Та разогнулась, красная от натуги, сдвинула выщипанные брови, уловив что-то издевательское в приплясываниях Важенки со шляпкой. Но та невинно дунула на вуаль, улыбнулась. Еле вытолкали эту Дерконос.

– По-моему, она не хочет нас кормить, – Важенка улеглась на кровать. – Незнакомка блоковская. Итак, что мы купим в первую очередь...

Марины не было нестерпимо долго, прошло полчаса, час, другой, в студгородке закрылась почта. Практичная Безрукова уселась за стол переписывать лекции и только качала голо-

вой на брань Важенки и ее возмущенные возгласы. Логинова на эту же самую брань хихикала со своего второго яруса. Но вскоре и гнев иссяк. Они замолчали, Важенка уже не ворчала и не ворочалась, молча смотрела в потолок. Лена уснула, и было слышно, как скрипит ручка у Безруковой, как хлопают двери других комнат, как шелкает пальцами, проходя мимо, вахтер Боря – мужской туалет находился от его поста в другом конце длинного коридора, и он всегда помогал себе шелканьем, чтобы скрасить долгий путь, а они смеялись – чу, Боря в сортир пошел!

Было слышно, что все движение за толстыми стенами радостно устремилось на кухню: соль забыли, со-о-оль! Через чуть-чуть в комнату вползут запахи еды, даже если не открывать дверь.

Запахи явились вместе с Дерконос, которая долго раздевалась, швыркала носом, явно побаиваясь шагнуть из-за шкафа. Но рано или поздно...

– Химию переписываешь? – ненатурально бодро спросила она у Саши.

Строгая Безрукова блеснула очками.

– Где деньги? – Важенка села на кровати.

Панцирные сетки у кроватей проседали почти до пола. Спасало будущее строительное ремесло: если под сетку засунуть чертежную доску, прямо на металлический каркас, то она уже не проваливалась, да и скрипела поменьше, а прекрасный жесткий сон был обеспечен. Как же спят люди на экономическом, часто размышляла Важенка.

– Где деньги? – повторила напряженно.

– А вот, – голос Дерконос дрогнул. – Кольцо купила, перстень. Между прочим, могу себе позволить.

К Важенке старалась повернуться боком, оберегая лицо и полную спину.

И такая тишина пролилась по неудобной, плохо освещенной комнате в старых темных гардинах, заваленной тяжелыми покрывалами из дома, с сальными островками на вытертых обоях, прикрытыми кое-как Сашиними гобеленовыми ковриками, с затхлым воздухом, а по полу дует...

– А остальные деньги? – тихо спросила Важенка.

– Так все за кольцо же, пятьдесят рубчиков, – голос Дерконос набирал силу.

Чтобы полюбоваться как следует, она отвела руку с перстнем к голой потолочной лампе. На светильник планировали скинуться со следующей стипендии.

Надо было успеть до закрытия, и весь путь до Выборгского универмага Важенка, задыхаясь, бежала по черному мокрому проспекту. В висках колотилось – почему же никто из них ничего не сказал Дерконос, не закричал на нее, не пригрозил, не припомнил, на чьи деньги жили эти две недели, почему? В “Сосновой горке” народец был тертый, уже научившийся скандалить, разбираться, а здесь дети, сущие дети. И она такая же. Робкие, не умеющие спорить и защищаться, с каким-то обрывочным самосознанием – кто мы? куда мы? главное, учись! – волею судьбы заключенные вместе в казенную комнату.

Она влетела на второй этаж сразу к галантерейному, где рядом со всяким рукоделием – наборы швейных игл, пальцы, схемы вышивок, грибки для штопки – посверкивали недорогие украшения. На перстне, один в один как у шельмы Дерконос, серебро с нежной финифтью, значилась цена – 25 руб. Запыхавшаяся Важенка попросила продавца посмотреть его поближе, недолго крутила в пальцах, осторожно положила на прилавок. Спасибо!

– Кольцо стоит двадцать пять рублей, – запальчиво на всю комнату.

Нет, Дерконос не визжала, что не их собачье дело, куда она потратила свои деньги, не побледнела, не оправдывалась. Лежа на кровати, сказала спокойно в потолок:

– Правильно, там было два похожих, очень похожих кольца, одно – двадцать пять, другое – пятьдесят, уж не знаю, чем они там различаются. Но на моем все тоньше, изящнее, меня продавщица уговорила за пятьдесят взять. Последнее.

Первый вечер, когда легли голодные. Не захотелось мудрить, стрелять, размешали побольше сахара в чае, напились и легли. Молчаливые.

Ушам не поверила, когда Дерконос, укладываясь, вдруг тихо вздохнула о том, что хочется есть. Нервно хохотнула Безрукова.

– Марин, а ты перстень полижи, – Важенка щелкнула выключателем.

* * *

Довольно скоро выяснилось, что ходить на лекции можно не каждый день. Ну, перепишу, да и все, смысл там торчать. На некоторые семинары тоже ноги не несли. Просто не хочу походить на этих испуганных зубрил.

Сначала ей было страшно просыпаться в пустой светлеющей комнате, и она вскакивала, пытаясь успеть на вторую, на третью пару. Потом даже вошла во вкус, и пусть все еще тревожно, но уже потягивалась в кровати не без неги, обдумывая лазейки, чтобы забить на весь день.

Она теперь никогда не была одна. Круглосуточно вокруг были люди: общага, буфет, метро, институт, столовая. И где же тогда лелеять свою индивидуальность? В сортире? Но там сквозняки, стульчаков нет – особо не полелеешь. Важенка поняла все это, когда обнаружила, что подолгу сидит, запершись, на краешке ванны в сестрорецкой квартире, куда они с Татой теперь часто наведывались. Пусть недолго, но человеку необходимо в дне побыть одному, думала она, удобнее заворачиваясь в одеяло, иначе с ума спрыгнешь!

Закуривала первую сигарету у стылого окна в коридоре, гулкий канал которого убегал прямо и далеко. Ее мучило похмелье и раскаяние, но она всегда неплохо успевала в школе и надеялась, что и здесь как-то расправится с зачетами и экзаменами в положенный срок. За оконной решеткой качались на ветках черно-серые птицы.

Она проспала и сегодня. Заторможенная, набрела в буфете на то, как хромая тетя Тося разбавляла из чайника вчерашний суп. Та не услышала шагов Важенки, но, обернувшись, не смутилась вовсе, только хохотнула: густоватенький был, перловка вот так комками! Важенка тихо съела яйцо под майонезом, выпила желтый кофе в потертом стакане. В коридоре, ежась, чиркнула спичкой у широкого подоконника, размышляла – идти, не идти. Издалека в тонких вензелях ее дыма показался вахтер Боря.

– Ты только лабы не пропускай, трудно отрабатывать, и на физру ходи, – прощелкал мимо.

Важенка слабо улыбнулась ему – утренняя сигарета привычно выбила из-под нее пол, хотелось лечь на него и закрыть глаза, как в детском саду, когда закружишься, опать, как марионетка. Лабораторные она почти не пропускала, а вот в спорткомплексе появилась лишь пару раз – что, прямо отчислят из-за физкультуры?

Уже у своей двери Важенка столкнулась со второкурсниками, Коваленко и Вадиком, с которыми пила накануне. Они загудели ей навстречу: курила, что ли, а мы стучим тебе, стучим. Все вместе отправились за пивом.

Была суббота, бесснежный минус и серая очередь у пивного ларька, сутулая, двухрядная. Три высоких столика прямо на ноябрьском ветрище, облепленные счастливыми с кружками, с полными бидончиками. Осторожно сдували пену на задубелый газон. Тощий старик в конце очереди не выдержал и крикнул им:

– Как оно?

Какой-то работяга в строительной робе, в ботинках, присыпанных побелкой, вынырнул из своей кружки с красными глазами.

– Разбавленное, чё. А как ты хотел?

Старик вытянулся, заорал по верхам:

– Скажите ей – пусть лучше недоливает, хер ли разбавлять-то, – сплюнул под ноги.

– Ну, мы тут навсегда! На час, наверное, больше. Суббота же, – расстроился Коваленко.

Важенка щелчком отбросила недокуренную сигарету, прищурившись, взглянула на него и забрала у Вадика из рук трехлитровую банку. Худенькая, легкая, побежала вдоль очереди к самому ее началу и, поднырнув под локтем у какого-то гражданина, оказалась среди первых.

– Дяденьки, – заныла по-девчачьи, держа пустую банку перед собой, – пустите, пожалуйста, папке на опохмелку.

Она даже не поняла, откуда принесло ей этот образ пацанки с рабочих окраин. Бледненькая, стрижка-горшок с подбритыми височками, дрожит от холода в черной дутой куртке. Мужики на секунду оторопели, потом заржали, стряхивая похмельный морок: достоялись же, сейчас одну большую, а маленькую с подогревом, чтобы сразу, до слезы, – девчонка смешная, сигарета за ухом, а если и врет, так и пусть, весело же! Первый по очереди, большой дядька с рыжей бородой, отступил на шаг, пропуская ее к прилавку.

– Да это студенты, блин, вон их общага, гоните ее в шею, – сварливо вопил кто-то из середины.

– Ну, студенты не люди, что ли, – добродушно басил дядька, ощупывая жесткую на вид бороду.

Важенка успела забежать к себе, чтобы накраситься, потом поднялась на третий мужской. Сочувственно взглянула на беременную девчонку, которая по пути на пятый семейный остановилась передохнуть на лестничной площадке. Но отдышаться не получилось – стояла, зажав нос от тошнотворного запаха селедки: вьетнамцы, которых на третьем пруд пруди, ввиду субботы начали жарить ее, не дожидаясь вечера.

– Они что, ее прямо соленую на сковородку? – промычала девушка.

Важенка пожала плечами, скользнула быстрее мимо кухни к комнате новых знакомцев. Ее шумно приветствовали – так красиво отжать пиво для всех! Загомонили радостно, задвигались, освобождая место. Разложили на газетке каких-то сушеных рыб, разлили пиво по стаканам. Коваленко уже с расправленным лицом что-то рассказывал, слегка отрывая, Важенка, наклонив голову, приглаживала бровь. Кровать, на которой она сидела, была низкая, и она, как Лара, переплела ноги, поставила их на носочек, коленками вверх. К обеду сгоняли за водкой.

– Вы вот тут сидите, а на кухне казан поставили с мясом, прямо вот такие шматы, – отмерил ладонями размер кусков Вадик, вернувшийся из туалета.

– Нет уже селедки жареной? – кокетливо поинтересовалась Важенка.

На дело пошли только мужчины: Коваленко с Вадиком, а соседа Костю, поклонника Дерконос, поставили на шухер. Вот только этот “шухер” ему плохо обрисовали.

– Чё делать-то? – слабо выкрикнул он им вслед.

– Просто подай знак, если этого увидишь. Свести в случае чего! Пой, – Вадик кинулся в кухню за Коваленко.

Расчет был на то, что башкир, хозяин казана, жил от кухни в другом конце коридора. Должны были успеть.

Коваленко сдвинул мохеровым шарфом тяжелую крышку казана, а Вадик, обжигаясь паром, пытался выловить оттуда шматы мяса. В то самое мгновение, когда у него наконец получилось зацепить алюминиевой вилкой приличный кусок, в кухню буднично вошел хозяин похлебки. Застыл, ошеломленный, на пороге. Вадик спиной к двери, в клубах пара наезжал на Коваленко, чтобы тот подставил ему тарелку под добычу: да скорее же, дебил! Но “дебил” молча кивнул на дверь. Вадик обернулся. За расфокусированным силуэтом башкира зверски жестикулировал олух Костя, запоздало подавая какие-то свои карельские сигналы.

Вадик выматерился, швырнул мясо назад в ароматное варево. Коваленко же со всей дури обрушил крышку обратно, и они гордо и зло покинули кухню, даже не взглянув на онемевшего башкира.

Долго трясли за грудки Костю, который, с трудом пробившись через ор, объяснил, что башкир появился неожиданно, из другой комнаты, той, что рядом с кухней, с луковицей, – и куда петь-свистеть? в лицо ему, что ли?

Важенка изнемогала от смеха.

Дальше Вадик пытался раскрутить Костю на домашнюю тушенку, которую подозревал в его близких закромах, но тот что-то мычал в ответ, отнекивался, а потом и вовсе исчез.

– Прикинь, он однажды с каникул двух кроликов и гуся привез. Спрятал от всех в чемодан, чтобы не делиться, а они там стухли. Сосед обнаружил их под кроватью, когда вонь пошла, – Вадик разливает по стаканам водку.

На замызганной газете жирные пятна и рыба чешуя, лужица пива, хлебные крошки разваленной буханки, от которой они отщипывают; макают мякиш в томатную пасту.

– Атас вообще, первый раз томатную пасту с хлебом, – качает головой Важенка. – Я уже пьяная-а-а.

– Ну дак, а какой тебе быть? С утра бухаешь с мужиками наравне, – хмыкает Вадик.

– Ва-а-адик! – укоризненно тянет она.

– Чё, не так, что ли?

Она знает, что хамит он сейчас оттого, что ее выбор пал на другого. И тогда Важенка с продуманной живостью рассказывает про их с Татой жизнь в “Сосновой горке”, а потом забирается еще раньше, в школьные годы. Говорит ярко, едко. И за ее актерство, за ум, за эту живость, что легко заменяет красоту, Вадик, оттаяв, прощает ей нелюбовь.

– Я смотрю, язык-то у тебя подвешен, – немного ревнует Коваленко. – Непростая ты девочка, да?

– Что ты имеешь в виду? – смеется польщенная Важенка.

Они смотрят друг другу в глаза, улыбаются.

– Что имею, то и введу, – не выдерживает Вадик этой пытки взглядом.

Проснувшись оттого, что захотела в туалет. Не сразу вспомнила, что она на мужском этаже. Постаралась уснуть снова, прильнув к спине Коваленко, но тот глухо заворчал во сне, скинул ее руки. Важенка сдвинулась на край, открыла глаза.

Приглядевшись, смогла различить низкий журнальный столик с остатками застолья. Уличный свет – штор в комнате не было – тускло отражался на боку стеклянной банки, из которой все еще разило пивом. Из пепельницы вывалились окурки, храпел Вадик. Она долго искала свое белье, натываясь на предметы, сильно ушибла колено об угол стола, тихо взвыла в теплой вонючей темноте. Маленькими шажками, выставив руки вперед, двинулась к двери. Все еще пьяная, долго возилась с замками, не понимая, как их открыть.

Крадучись спустилась к себе на первый. Естественно, что Дерконос закрылась на собачку. Важенка выругалась шепотом, потом принялась негромко стучать в дверь.

– Сколько можно, каждую ночь одно и то же, – шипит гусыня Дерконос.

Важенка быстро укладывается, сворачивается калачиком, обхватив всю себя руками. Ненавижу, пульсирует внутри, ненавижу.

* * *

Комендантша почти никогда не смотрит в глаза, бубнит что-то под ноги, в сторону, и по имени никого не помнит. Низенькая, и, чтобы разобрать, о чем она, надо поднырнуть куда-то под ее отросшую пегую химку. Но, если отыскать ее жидкий светлый взгляд, он неприятно ужалил – пульткой зрачка прямо в лоб. Женщина в теле, но ходит стремительно – ее сож-женные пряди пружинят, развеваются по всем коридорам вместе с полами черного рабочего халата с цветастым воротничком. Падежей она не помнит, говорит сбивчиво, спешит, часто проскальзывает мимо “ж” и “ш”, заменяя их на что попало.

– Девочки, этсамое, – швыркает она носом, – чё не в сколе-то? Давай в телевизионную, там, этсамое, на...

Она протягивает Важенке черную шелковую ленту и коробку стальных булавок. Важенка уже обо всем догадалась, но валяет дурочку – не поняла, Жанна Степанна, зачем мне в телевизионную? Жанна злится. Жанне, чем сказать, проще туда сгонять и ткнуть в огромный портрет Брежнева, который сняли со стены и несут к сцене вахтер Боря и еще какой-то парень. Жанна подбегает вплотную к портрету, мычит, жестикулирует, показывая, куда надо крепить ленту.

– Она же узкая для него, – кочевряжится Важенка.

Комендантша хмурится. Важенка показывает, как это некрасиво: узенькая ленточка на массивном портрете. Потеряется, рассуждает Важенка. Жанна зырк-нула, махнула рукой, умчалась куда-то.

Две первокурсницы закончили натирать мастикой плохонький паркет, и теперь Боря с помощником расставляют шаткие секции стульев с откидными сиденьями. Важенка уже почти закрепила ленту, когда в телевизионную ворвались Жанна с бельевщицей. Заплаканная бельевщица протянула ей отрез шерстяного крепа, причитая, что вот пальто на зиму пошила два года как уже, а это остатки, пригодились теперь, и ведь никогда не знаешь – вроде не болел... или болел?

– Ты его на трибуне-то видела неделю назад? – спросила комендантша. – Седьмого на параде?

– Видела, – насторожилась бельевщица. – И чего?

Важенка с любопытством прислушивалась. Комендантша метнула на нее свой колючий взгляд и заключила:

– И ничё. Больше не увидишь!

Ленты сунула Боре, чтобы он прикрепил их к красным флагам на входе, которые еще не успели снять после праздников.

Началась прямая трансляция. С экрана лилась трагическая музыка, пахло мастикой, погасили лампы, и только серый ноябрьский свет в три высоких окна. Жанна у дверей телевизионной ловила всех проходящих, перенаправляя их внутрь. Сопровождающих подталкивала сильными короткими руками: давай-давай, воздь наш, в последний путь! Через час уже скука смертная – бесконечное прощание, почетный караул из партийных шишек, гроб с телом водрузили на артиллерийский лафет, сзади генералы и адмиралы несут на алых подушечках несметные награды генсека. “Он похож на большого ребенка, когда награждает сам себя!” – восклицала соседка Секацкая при вручении очередного ордена. Бельевщица заливается горькими слезами, прямо убивается. Важенка даже позавидовала – ей тоже хотелось заплакать. Было до обморока любопытно, что же теперь будет. В какую сторону повернет жизнь?

– В Мавзолей повезут? – спросила шепотом худенькая первокурсница, та, что натирала пол.

– Ага, завезут... со старшим попрощаться, – сострил какой-то ленинградец, которого с двумя его дружками комендантша только что загнала в зал.

– Сволочи, – ахнула про себя Важенка, метнув на красавчиков гневный взгляд.

Все трое были в импортных хороших куртках. Тот, кто высказался про “старшего”, элегантно сжимал в руке кожаную тонкую папку. Важенка засмотрелась, выпрямилась.

Шел нескончаемый траурный митинг.

– Ой-ой-ой-ой-ой, война, наверное, будет, – запричитала заглянувшая на минутку тетя Тося, вытирая руки о грязный фартук.

Троица ленинградцев заржала в голос и удалилась в коридор. Важенка выскользнула за ними.

Вернулась она, когда гроб уже опускали в могилу на прочных белых лентах. Почему-то стало страшно, что он вот-вот сорвется, скользнет туда сам. Народу в комнате набилось много,

сидели, стояли, не дышали почти, все вместе словно помогали своим взвинченным вниманием тем двоим с лентами – осторожнее, пожалуйста, осторожнее. Потому и содрогнулись, когда на последнем движении вниз с экрана загрохотало на всю страну: уронили, гроб уронили! да залп это, залп орудийный! Заголосила бельевщица, грянул гимн, и слезы из глаз Важенки, а поверх всего улегся оглушительный рев гудков. Гудели фабрики и заводы, машины и паровозы, пароходы. Гудело все, что могло гудеть. Три минуты гудела вся Выборгская сторона, гудел Ленинград, вся советская земля, выворачивая души наизнанку. Прощай, старая жизнь, стоячее время-болотце, пусть, пусть перемены, вдруг к лучшему!

Теперь Важенка задыхалась от слез, целых три минуты. В сладком трансе, созданном событием и звуком, она клялась себе, что изменится, что никогда больше не будет прежней. Я обещаю, обещаю! Только бы не было войны.

Три минуты – это много, и в конце последней она не выдержала и скосила глаза на беспокойного соседа слева. На протяжении всего этого рева шло какое-то странное шевеление с его стороны, легкие толчки в ее плечо. Похоже, что он прижал свою девицу к стене и, закрывая собой их обоих, мямл ей грудь под свитером.

* * *

Дерконос уже третий вечер возилась с эпюром. Каждые полчаса гоняла с вопросами к старосте, или он забредал по пути посмотреть, как все движется. Придирался, покашливал вокруг. Важенка из-за этого начертательного ажиотажа разнервничалась, тоже было пристроилась здесь же, на большом столе. Долго боролась с Дерконос за настольную лампу, долго крепила ватман к чертежной доске, но дальше системы координат дело не пошло. Дерконос объясняла все через пень колоду, детально разбираться с заданием Важенки, похоже, не испытывала ни малейшего желания.

– Мне кажется, ты нарочно! Специально неправильно все говоришь! И бестолково. Слушай, а сколько тот старшекурсник за эпюр берет? Двадцатка или двадцать пять? – канючила Важенка, помахивая норковой меховушкой, которой удаляли остатки ластика.

Страхивать их ребром ладони нельзя, могут остаться грязные разводы. Во всех комнатах для этой цели заячьи лапки, хвостики ну или кусок ваты. Откуда у них этот темный норковый прямоугольник, Важенка даже не помнила. Она раскладывала его в волосах, спускала на лоб, потом под нос, поддерживая верхней губой, притворялась, что это усы.

– Ты совсем, что ли, – не глядя на нее, приговаривала Дерконос беззлобно.

Она уже отмывала плоскости разноцветной тушью. После каждого слоя отходила на шаг, любуясь работой, роняла тяжелую голову то вправо, то влево. Радостно несла какую-то околесицу – оттого, что дело близилось к концу. Вела диалоги с принимающей стороной.

– А если спросит вдруг: а что это у вас, девушка, вот тут неровно? Вылезли за край, а? А я ему: да пошел ты...

Бормотание это обрывалось в самых нелогичных местах, так как иногда для твердости руки даже дышать было опасно. Кончиком кисти гнала натек вниз.

Важенка этот бред не слушала, а обдумывала, как завтра с утра рванет в Сестрорецк, возьмет у кого-нибудь из девчонок денег в долг на чертов эпюр. Она уже отнесла свое задание старшекурснику, договорилась, что за два дня он справится. Денег было нестерпимо жалко, но вот так – она рассматривала красивый эпюр Дерконос – она точно не сможет. Вернее, оставшихся до зачетки считанных дней на такую возню не хватит. Девять других зачетов. Десять.

Упала на кровать. Жалела деньги, себя. Сквозь ресницы рассматривала Дерконос, хлопочущую вокруг эпюра. Та вскоре исчезла, стерлась по частям, а двухъярусная кровать за ее спиной придвинулась, закачалась, или уже Важенка плыла на ней под тонкий звон кистей, которые промывала в стакане невидимая Дерконос. Они ударились металлическим цоклом о стекло

граней, звенели. Шорох линейки, превратившейся в шорох волн за окном трюма. Мужчина, она точно знала, что это отец, рассказывал попутчику в каютном отсеке, как вымокли они, пока бежали из леса к причалу. Полные корзины влажных грибов, сверху разлапистый папоротник. Отец открывает ножом банку тушенки, и всегда страшно, что нож соскользнет, и потому смотришь только на нож, на темный зазубренный провал, тянущийся за ним. Оттуда из расщелины – лужица золотистого сока. Тушенка пахнет грибами. Попутчика не рассмотреть против света. Да его и нет как будто. Важенка в казенном нечистом одеяле. Ломти сырого хлеба на столе. Отец, почему-то в исподнем, все время поправляет на ней это прелое одеяло. А потом вдруг сразу крепкая светлая изба с круглыми желтыми бревнами. И Важенка в одной сорочке крутится, крутится перед тяжелым зеркалом, поставленным на солнечные половицы. Накручивает на голову светлую шаль в алых маках, спускает ее на плечи, смеется.

Отец что-то говорит, сидя перед ней на табурете в том же исподнем. Она не слышит, но как будто: “Красота моя!” Согнулся устало. Смотрит, смотрит снизу вверх. Любит.

– Ну красота! Просто красота! – басит староста, возвращая ее назад.

Она улыбалась во сне и думала: пусть оставят хоть эту скользкую шаль с нежными кистями, отца у нее все равно нет и никогда не было. Ей хотелось проверить рукой, есть ли шаль сейчас на ней, но сон сковывал движения. Все еще могла держать его прозрачный серый взгляд, его заботу – хотела думать “любовь”, но пусть забота. Даже проснувшись окончательно, еще несколько минут она чувствовала себя защищенной.

Бледная, долго смотрела потом в заляпанное зеркало в туалете.

В комнате все сбились в кучу возле Дерконос, охи, ахи, восторги. И Лена с Сашей подошли.

– Вот тут-то подрисуй тушью. Не, не эту, выше линия.

Дерконос бодро кивнула и через весь лист потянулась к баночке с тушью. Взяла щепотью сверху, но, пока несла, не закрученная, а просто присохшая крышечка отвалилась. Все охнули, отпрянули назад. Теперь Важенке кажется, что все замедлилось, как в кинофильме: безобразный чернильный тарантул, выбросившийся из баночки, завис в воздухе на долю секунды. Потом летел в ореоле брызг, меняя форму. В конце тарантул тяжело плюхнулся в центр этюра, куда уже на ребро донышка кратко приземлилась злосчастная банка. Прежде чем она свалилась на бок, староста уже схватил доску, к которой был приколот чертеж.

– Скорее, сольем, – почти хрипел он.

Окаменелая Дерконос. Ее оттолкнули. Тушь сливали прямо на пол, суеились с тряпками, спотыкаясь друг о друга, пытались смыть ее с этюра водой, но ватман уже успел промокнуть. Староста развел руками.

– Чего ты крышку-то не завинтила? – заорала Важенка, глаза ее сверкали.

– Я в ней тушь все время разводила. Лень каждый раз закручивать. Так прикрыла... чтобы не сохла, – Дерконос даже не плакала.

– Ничего, Марин, давай сейчас чаю, успокоимся и перестеклим твой эпюр. Помогу тебе, – гудел староста. – И отмыть помогу. Но это, правда, уже завтра. Стеклить быстро. Сейчас стекло на две табуретки. Туда старый лист, сверху новый зафиксируем, чтобы не скользили. Вниз лампу настольную. И все как под калечкой будет видно.

– Сразу же поймут, что стеклили, – потерянно говорила Дерконос. – Никаких тонких линий, пунктиров нет, следов от резинки, все набело, блестит... как жопа.

– Так ты скажи, что со своего стеклила. Залила тушью, и пришлось. Чё такого-то? Этот с собой возмешь, – Саша Безрукова ткнула остреньким подбородком в испорченный эпюр. – Задания же индивидуальные.

– Не, они повторяются. Но, конечно, пока найдешь свой вариант... – гундосила Лена. – Да еще если он не у отличника...

– А у меня, например, да, Лен? – рассмеялась Важенка.

Она ушла за шкаф делать всем чай. Пока они там рядили да судили, как быть с эпюром Дерконос, Важенка, наливая кипяток в заварник, даже радовалась, что пришла к такому хоть и затратному, но разумному решению.

– Тебе помочь? – крикнула Безрукова.

– Нет. Пока вообще сюда не ходите! – отозвалась Важенка из-за шкафа, дрожа от радости внезапной затеи.

Водрузив все необходимое на поднос, она молниеносно скинула спортивные. Двумя английскими булавками осторожно закрепила норковый прямоугольничек у себя на трусах так, чтобы он торчал из-под футболки, давая полную иллюзию, что она без белья. Вот так просто, в одной короткой майке, с подносилом угощает всех чаем. Хозяюшка.

Едва сдерживая смех, шагнула из-за шкафа.

* * *

Важенка бежала по пешеходному переходу, низко наклонив голову. Ветер нещадно жалил голый лоб, задувал под куртку – с наступающим! Даже не верится, что сегодня тридцать первое, совсем не до этого. Ровно в десять утра у нее экзамен по физике, и если она успеет перед ним получить предпоследний зачет, то ее допустят. А с одним незачетом на первый экзамен можно!

Город бесснежный, обветренный. Собранный из гранита, камней, плитки, серых бетонов, сверху наглухо запечатан свинцом. Если всматриваться, то, конечно, различишь в небе какой-то шепот, шелест, движение серым по серому. Как вон те дымы, что стелются параллельно каменной земле, – белесые по небесному речному перламутру. Важенке еще метров пятьсот до спорткомплекса по ледяным вчерашним дождям. Минус три сегодня.

У крыльца наткнулась на однокурсника – есть кто-нибудь на кафедре? Он, счастливый, в ответ помахал зачеткой – беги скорее, там мужик какой-то, один, всем ставит! А сколько у тебя незачетов? Важенка сделала вид, что не услышала: каждая минута дорога.

Она вбежала на спорткафедру в половине десятого. О чудо, там на самом деле зевал за столом какой-то дежурный преподаватель со свистком на шее.

– Так декан ваш сейчас придет, – сказал он лениво, выслушав Важенку. – По твоему факультету. Ирина Львовна. В десять часов.

Как раз она-то Важенке страшно нежелательна. Спортивный декан по гидротехническому Кузьмина Ирина Львовна пообещала, что зачета ей не видать как своих ушей.

– Надо же так обнаглеть, – говорила она, разглядывая журнал. – Первый курс, и такие борзые. Два раза за весь семестр, не маловато, Важина? Болела? Справку давай, если болела.

Физкультуру можно было отработать, но Кузьмина нарисовала ей вдвое больше прогулянных часов. Это справедливо, заключила она, прорвав последним росчерком бумагу. Изучив на свет эту дырочку, Важенка поняла, что все другие ее задумки получить зачет у Кузьминой маловероятны: подкараулить у подъезда, обаять, рассмешить, пять гвоздик... Но как отработать сорок часов? И так последние две недели они не спят, едят что попало, в основном слойки, коржики, еще какую-то буфетную дрянь. В глазах песок, и полопались сосуды. Пару раз она чистила каток, но это всего лишь пять часов отработки. Она сделала ставку на все другие зачеты, а с физкультурой... ну, просто не верила, что из-за нее могут отчислить.

– У меня в десять экзамен, а еще за допуском в деканат, и добежать отсюда до деканата, а потом в главное здание, – канючила Важенка, подсовывая ему часы отработки.

– Не густо, – присвистнул преподаватель. – Что же ты так спорт не любишь, Важина?

– Я не люблю? – задохнулась Важенка, почувствовав в его голосе улыбку. – Да я все детство гимнастикой занималась. И юность.

– Юность? – заинтересовался он. – А можешь ласточку сделать? Вот прямо сейчас. Ласточку?

По пути к выходу Важенка четыре раза поцеловала зачетку. Ну конечно, она сделала ему ласточку. Сняла пиджак, постаралась поизящнее, постояла подольше, старый козел был доволен.

– Ногу опорную не сгибай! Зачем выгнулась? Всю юность она... Спина ровная, параллельно полу!

Заржал, поставил зачет, головой качал – если бы не Новый год...

В фойе спорткомплекса столкнулась с Кузьминой. Очки у нее запотели, и она только беспомощно улыбнулась на Важенкино “с наступающим!”.

– С наступающим, ребята! – слабо откликнулась Кузьмина.

Важенка аккуратно ее обогнула. В главном здании уже с допуском бежала вверх через ступеньку, волнуясь: как там? что там? сколько человек зашли?

Вся надежда на “бомбы” Дерконос – заранее написанные ответы на солидных двойных листочках. Важенка даже присоединилась к их заготовке прошлой ночью и послушно выполняла все ее покрикивания. Если повезет и ответ на вопрос написан Важенкой, то “бомбу” можно будет просто подложить, а в случае если почерк Дерконос, то тут уж делать нечего, придется с нее переписывать. Потому всю вчерашнюю ночь Важенка, не жалея сил, писала и писала, чтобы побольше ответов ее почерком. Хотя и наклон, и округлость букв так похожи, да и ручки нашли одинаковые.

– Так, Важенка, вот отсюда и досюда, держи учебник! Это ответ на двадцать седьмой по списку. Ты, кстати, сразу не “бомби”, посиди для виду, попиши чего-нибудь, а потом – раз...

– Попиши! Интересно что? А если они свои листочки будут давать? Притащат А4 какой-нибудь, – Важенка капает в чай элеутерококк.

– Ну, ничего не поделаешь, придется переписывать с листа на лист остороженько.

– Не хотелось бы, – вздыхает Важенка, уставившись отморозенно на розовый абажур лампы, смотрит не моргая, спит на ходу.

– В любом случае удобнее шпор. Со шпорой засекут, ничего не докажешь. А здесь выдашь за только что написанный ответ. Лежит такой на столе.

Полчаса пришивали потайные карманы для “бомб”. Носовой платок расправить и на живучечку внутрь пиджака. В правой полочке – первая часть вопросов, слева – все остальное. Здесь Важенка полностью доверяла Дерконос как “разбомбившей” коллоквиум в середине семестра.

– Смотри, хорошо? Не видно? Вот я иду, иду-иду, руку поднимаю... Застегнуть все-таки? Важенка вертелась около зеркала в пиджаке.

– Дерконос, ты в первых рядах заходи, как раз ты выйдешь, я пойду, если все нормуль! Я к одиннадцати буду. Может, в начале двенадцатого. “Бомбы” никому, слышишь! Если кто-то попросит, пусть потом назад, отбери, чтобы целый комплект. Зря, что ли, писали?

– Ты мне уже плешь указаниями проела!

– А потому что ты молчишь! И как-то подозрительно киваешь с улыбочкой. Типа, я не писала, тебе не помогала? А ты отвечай – хорошо, Важенка! Сделаю, Важенка! Тебя дождусь. “Бомбы” не разбазарю.

Спали часа два всего. И это мука адова – подниматься после таких кратких снов. Слышишь будильник и там, в непролазной чаще пробуждения, всякий раз заново вспоминаешь: кто ты? где ты? Потом смотришь воспаленно на край одеяла и всерьез думаешь все бросить и уехать домой, к бабушке, к матери. Встаю. В голову залит чугун, отвратительно дует в умывалке, чужой черный волос на мыле, а колпачок зубной пасты упрыгал под толстую ржавую батарею, туда со стоном. Крепкий чай, сигарета, не проснулась, но идти могу.

Позавчера, замученные вконец, курили с Безруковой на лестничной площадке между первым этажом и подвалом, прижимаясь острыми лопатками к теплому радиатору – ребрышки к ребрам, левый бок, потом правее. Грелись. Одурело и молча смотрели перед собой. Мимо скользили в душевую тени девушек в теплых халатах с пакетиками, в пакетиках банное – женский день, стало быть. Из душа уже не тени – вполне прорисованные, разомлевшие, подростские на махровый тюбан.

Сверху, где-то на кончике взгляда, между маршами качался на длинном волосе целый волосяной клочок. Важенка даже представила, как, выдрав из расчески, его покрошили пальчиками в лестничный пролет – лети, лети, лепесток. Зацепился за что-то, не долетел.

Важенка ткнула сигаретой в этот клочок:

– Смогла бы его съесть за все зачеты? Вот съешь, и через минуту все, полная зачетка! Безрукову передернуло. Бе-е-е! Важенка улыбалась, стряхивая пепел.

Однако секунд через пятнадцать Безрукова выступила с уточнениями условий. Давай за зачеты и все экзамены?

Хохотали до самой комнаты. Громко, безудержно, чтобы хоть немного облегчить свалившуюся ношу, поддержать, растормошить друг друга. Еще, конечно, потому что все смотрят, оборачиваются.

– Смотри, я бы сначала его прокипятила хорошенько, потом томатную пасту. Много. Ну, проглотила бы как-нибудь, ничего.

* * *

Экзаменаторов было двое: лектор, доктор наук Малышев, тот самый чудесный тролль, марсианин, что принимал у нее вступительные, и его ассистент, молодой, незнакомый. Важенка мечтала об ассистенте, разглядывая его взволнованный профиль из коридора.

– А то пристанет со своими дополнительными, – бормотала она, наблюдая в щель высоких дверей, как Малышев рыщет между рядами, внезапно склонившись, шарит в партах на предмет шпор, вращая своими рачьиими глазами, скрипуче смеется. – Неугомонный.

– Бери мои! – это счастливая Безрукова вышла с пятеркой. – Мы вместе со Славкой писали.

– Нет уж. У меня свои есть. А почерк твоего Славочки я никогда не разберу, как курица лапой... А что листочки, листочки? Можно свои?

– Да! – радостно кричит Безрукова в слепое от напряжения лицо подруги. – Двойные свои листочки.

– Йес-с-с! – Важенка крутанулась вокруг своей оси.

– Свои можно, да? Я не услышал? – это Стасик надвинулся на них, задышал тревожно.

Стасик врет, что не услышал. Ему просто нужно в разговор вклиниться, чтобы Безрукова сто раз повторила, что листочки можно свои, и тогда его сердце будет прыгать не так сильно. Потом ему нужно подробно пытаться ее: кому лучше отвечать, молодому или Малышеву, ну да, да ясно, что молодому, а ты кому? ах да, Малышеву, ну, ты отличница, тебе сам бог велел... Полтора месяца назад на коллоквиуме по вышке Стасик Лебедев, умоляя профессора поставить ему хотя бы три, слезно произнес “я на колени встану”. Так что особой популярностью среди восемнадцати-двадцатилетних одноклассников он не пользовался. А Важенка так вообще легко поменяла его фамилию на “Лебядкин”, а он даже не спросил почему.

Безрукова, дождавшись любимого, ушла, весело помахав Важенке: ни пуха ни пера, золотце!

К черту тебя, Безручка! Три раза туда. Везет же. За руку со своим Славой, по-другому не ходят, тонкие, звонкие, голубоглазые. Утром он встречает ее у метро, в институте вместе,

оттуда к нему домой, в общагу Саша возвращалась к ночи. Неразлучники. Даже у туалета друг друга ждут, больные люди!

Стасик одышливо метался перед дверьми аудитории взад-вперед по коридору, все время нажимая на кнопку зонта-автомата. Тучный, красный, периодически доставал платок, утирался им, что-то бормотал, шутил, хихикал сам с собой, боялся, в общем.

– Ну ты придурок! – качала ногой Важенка, сидя на подоконнике.

Не рассчитав, внезапно открыл зонт в лицо какой-то седовласой преподавательнице. Она отпрыгнула в сторону, гневно блестела оттуда очками.

Лебядкин, зачем тебе зонт? Минус за окном. Вчера был дождь. Ну так вчера, а сегодня нет. Но вчера был.

Вся остальная группа погружена в конспекты. Или вид делают. Станные такие, разве перед смертью надышишься?

Они со Стасиком вошли последними. Через минут десять Важенка осторожными пальчиками отсчитала и вытянула из носового платка первую “бомбу”, еще через пять – ответ на второй вопрос. Поняла, что почерк Дерконос и ее собственный почти неразличимы. Зевнула и принялась заучивать текст. Гудели лампы дневного света, а та, что над Важенкой, противно моргала. Ясно, что Безруковой, например, “бомбы” нужны лишь для страховки – она почти половину билетов знала, определения основные. То, что не выучила, “забомбила” – ей потому и нестрашно на дополнительных срезаться. Внезапно Важенку осенило, как избежать допов и вообще, может, даже наскрести на четверку. Она принялась быстро строчить ответы заново, допуская в них легкие неточности, а в паре формул искусно “напутала” с параметрами. “Ошибки” свои она тщательно запоминала. Тогда этот аспирант, к которому она стремилась, все время потратит на корректировку ответа, на вытаскивание из нее точных значений, она будет морщить лоб, вспоминать. Может даже пять поставить!

Дописав, Важенка подняла голову. Малышев уже раскрыл зачетку, чтобы поставить оценку Лене Логиновой, но вдруг снова принялся что-то уточнять. Ассистент в самом разгаре опроса. Значит, сейчас старикашка пригласит к себе следующего. Ее очередь, Стасик брал билет последним. Но Важенке нельзя к чудесному троллю, его не обмануть – щелкнет ее как орешек.

– Извините, можно в туалет? Я быстро, – Важенка легким шагом пробежала к выходу.

Малышев кивнул уже ей вслед, Стасик громко булькнул за партой.

Она не спеша вымыла руки, покурила, потом не отрываясь смотрела на секундную стрелку – все, Стасик уже в марсианских лапах! Вздогнула, когда в дверях аудитории столкнулась с Малышевым – он разминал беломорину. Просветлел лицом ей навстречу.

– Я покурю, и сразу отвечать будем. Кто там следующий, – его гуинпленовская улыбка уехала налево.

В пустых коридорах свет уже горел не везде, а в полукруглых огромных окнах васильковый сумрак вытеснил последний серый день. На ватных ногах она шагнула в аудиторию. Было видно и даже немного слышно, как разошелся в старом парке утренний ветер. Довольный Стасик делал вид, что поглощен писаниной, аж пар из него валил. На ассистента надежды никакой – только ко второму вопросу приступили! Небольшая настольная кафедра закрывала от аспиранта и Стасика зачетки, навалившиеся друг на друга, как рухнувшие кости домино, в том порядке, в котором брали билеты. Проходя мимо них, Важенка быстро и незаметно поменяла местами свою и Лебядкина – теперь получалось, что следующий он. Такова селяви, Стасик, твой выход!

Он, разумеется, орал, что не его очередь, что с зачетками напутали, положили не так – Ира Важина, ты же передо мной была! – но Важенка взглянула на всех светло и удивленно, дернула плечиком, погрузившись снова в свои записи. Чем сильнее сейчас истерит Лебядкин, тем непреклоннее будет Малышев.

– Ну и ничего, что не дописал, сейчас тут вместе все придумаем. Давайте-давайте, я помогу вам. Не век же тут сидеть, в самом деле. Новый год сегодня, – гудел добродушно.

Она уже одевалась в коридоре, бережно уложив в сумку свою четверку. Крикнула в спину убегающему аспиранту: “С наступающим!” Разгоряченная, обернулась на распахнутую им дверь аудитории, где Стасик разбирался с Малышевым. Троль пытался его обогнуть, чтобы уйти, но Лебядкин не давал ему это сделать, все время преграждая путь. Он простирал к лектору руки, заклиная поставить хоть какую-нибудь троечку – самую маленькую, можно с минусом! – иначе его просто отчислят. При его раскладе не получить допуска к следующему экзамену. Малышев отшучивался, неумолимо продвигаясь к двери.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.